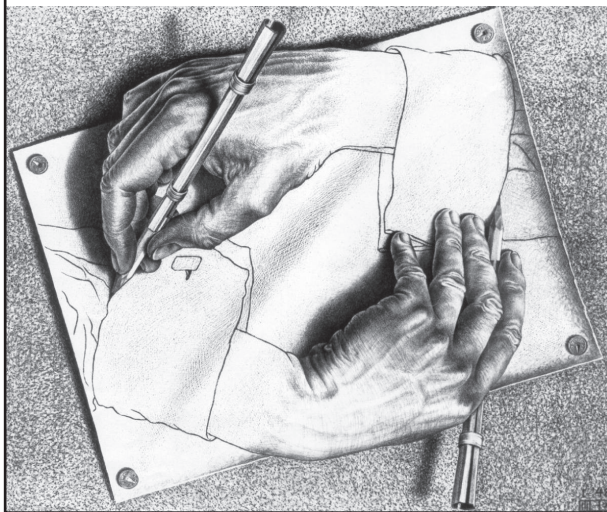


Валентин Молодов
Герман Тодоров

Накануне завтра



УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос-Рус) 6-44
М75

М75 Накануне завтра. / В. А. Молодов, Г. И. Тодоров. —
М.: Триллиум, 2018. — 156 с.

ISBN 978-5-9659-0142-5

Сборник избранных полуфантастических произведений, написанных в конце 1980-х—начале 1990-х годов молодыми тогда авторами в самых разных жанрах. Для самых разных читателей. Почти все публикуется впервые.

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос-Рус) 6-44

ISBN 978-5-9659-0142-5

© Молодов В. А., 1987—2017
© Тодоров Г. И., 1987—2017

Содержание

Рассказы

УСТАМИ МЛАДЕНЦА	6
ВЕЧНАЯ ИСТОРИЯ	18
ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ СЧАСТЬЯ	34
СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА	64
ИЗ ДОМА ВЫШЕЛ ЧЕЛОВЕК	76
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ	88
МОКРЫЕ ДЕКОРАЦИИ	92
ЧЕЛОВЕК И ГОРА	104

Повесть

БЕЗВРЕМЕННИК	112
--------------------	-----

Рассказы



Устами младенца,
или
вначале было слово
«мама»



Что может быть прекрасней огромной розовой картонной коробки, весело подмигивающей ярлыками и наклейками, излучающей нежный синтетический аромат только что сошедшего с конвейера таинственного содержимого? Именно такая коробка, величественно покачиваясь, вползла в дверь компакт-квартиры одного из столичных полиэтажных жилкомплексов.

Ирэн Мэйден, хозяйка этой теснущи, удивленно попятилась и, наконец, заметила позади коробки щекастую голову своего мужа. Голова прижимала подбородком лакированную крышку. Муж протащил свой груз по коридору странной формы, внес его в гостиную и водрузил на обеденный стол. Ирэн последовала за ним. Она сунула в карман соску, которую машинально теребила в руках, и вопросительно посмотрела на мужа.

Крут Мэйден старательно отряхнул свой совершенно чистый костюм и вытер со лба еще не успевший выступить там пот. Затем он скрестил на груди руки с короткими волосатыми пальцами и заявил:

— Молчи. Ты ничего не понимаешь. Женщины вообще ничего не понимают. Обычно, — добавил он великодушно.

— Но я молчу, а ты... — начала Ирэн.

— Вот и молчи! Здесь, — и Крут самодовольно похлопал лоснящуюся коробку по одной из ее квадратных спин, — будущее нашего ребенка. Да!

— И что это такое? — осторожно справилась Ирэн, вытаскивая из кармана соску и снова принимаясь ее теребить, — опять что-то вроде пневмомагнитной колыбели или вакуумного горшка?

— Ну причем здесь это? — ответил Крут. — Никто не застрахован от нелепых случайностей, — продолжал он, — но на этот раз все предусмотрено! Фирма гарантирует от всего. В том числе от пожара, взломщиков и термоядерной войны.

— Может быть, ты все-таки скажешь, что это такое, — мягко, но не без настойчивости попросила Ирэн.

— Да! — Крут картинно засучил рукава и элегантно, словно дверцу служебной машины, откинув крышку, извлек «будущее ребенка».

Будущее оказалось радужным шаром с большой пунцовой кнопкой на темени и дюжиной гнезд вдоль экватора. Почти все верхнее полушарие занимала черная надпись огромными пузатыми буквами «Цицерон», а ниже маленькими, но не менее пузатыми: «применять по мере использования».

— Это новейший трехскоростной форсированный обуча-тель речи, — со сдержанным восхищением (собой и аппаратом) пояснил Крут, — через два месяца наше чадо будет болтать, как... как телепрограмма «Будущее нации».

— А чему он будет учиться остальные 15 лет своего детства? — услышал Крут знакомый до аллергии голос.

Он обернулся. Как всегда, он не заметил, как тесть вкатил в комнату. При взгляде на престарелого отца Ирэн в сознании гостей, изредка забредавших в квартиру Мэйденов, всплывала

многотиражная вермишель вроде «живой свидетель», «символ противоречий эпохи», «несмотря на социальные корни» и прочих накатанных выражений. Не то, чтобы он напоминал антикварную мебель, музейный автомобиль, каменное зубило или Эйфелеву башню, но нечто от доживающего не первый десяток своих последних лет и по капризу природы забывшего миновать минувшего в нем определено было. Короче говоря, это был полупарализованный, прикованный к креслу-каталке старик с большой бугристой головой и шустрыми, ехидно постреливающими глазками. Он был укрыт плешивым мохеровым пледом, из-под которого высовывалась босая («для вентиляции») ступня с большими желтыми ногтями.

Эти легкодоступные свежему взгляду детали уже давно не регистрировались в мозгу Крута. Трех лет совместной жизни хватило, чтобы превратить дедулю в расплывчатое нечто, постоянно учиняющее пробки и заторы на неоновых магистралях семейной жизни.

— Так как же, Крут? — повторил дедуля после паузы.

— Детство, — заранее разъярясь, заявил Крут, — в скором времени сократится до пяти лет. Это во-первых. А во-вторых, обучение языку — не единственное занятие для новорожденного мозга.

Дедуля промолчал. Подъехав к столу, он высунул из-под одеяла сухую и длиннопалую, словно из анатомического музея, руку и взял инструкцию к прибору.

— Я не собираюсь каждые пять лет рожать нового. Меня пока вполне устраивает этот, — вдруг возмутилась Ирэн.

— А ты молчи. С такими, как ты, человечество так и осталось бы в темном чреве матриархата, — изрек Крут и принялся вытаскивать из коробки цветастые и длинные, как его самые умные мысли, провода.

Наступила тишина. Собственно, тишиной она была только в смысле временного отсутствия реплик, ибо комната до краев была наполнена азартным пыхтением Крута и многообещающим позвякиванием и поскрипыванием извлекаемых из коробки сопутствующих деталей.

— Давно ощущаемая потребность в прогрессивном младенчестве становится на реальную платформу в виде нашего «Обучателя», — рутинным голосом учетчика при крематории процитировал дедуля.

— А разве можно стоять на шаре, Крут? — вдруг добавил он, ехидно симулируя удивление.

— Папахен, — урча, выдавил из себя Крут, причем лицо его, словно созревающая вишня, стало постепенно наливать бордовым соком, — вы уже давно прогрессируете обратно и скоро вам самим понадобится Обучатель.

— Как ты можешь, Крут, это же... — попробовала вмешаться Ирэн.

— Могу! — взревел Крут. — И буду! Поймите же, наконец. Жизнь — это ралли. Тот, кто на старте первым жмет на педаль, уходит в отрыв. — Крут гулко прокашлялся. — И задача родителей — подготовить этот старт и обеспечить максимальное ускорение.

— Отлично сказано, Крут, — с подозрительным добродушием улыбнулся дедуля и ласково погладил ручку своего патентованного кресла, — но вот что, если старт не в ту сторону, а? Тогда чем быстрее едешь, тем труднее не свернуть себе шею при развороте.

Но Крут уже не слушал его. Он молча покатил весь стол вместе с Обучателем в детскую. Стол катился медленно, потому что колес у него не было. За Крутом последовала Ирэн, а к ней в кильватер пристроился и дедуля.

Детская была чудом, и не только для младенца, который этого оценить, естественно, не мог. Вводимые туда гости обычно благоговейно робели, а хозяин, набрав в легкие побольше воздуха, начинал небрежно объяснять. Первым номером шли электропеленки и стереопогремушки, наигрывающие новейшие классические произведения. Затем Крут переходил к умопомрачительному автономно циклическому комбикормителю, состоящему из молоковспрыскивателя естественной формы, электровакуумного горшка-регенератора и блока-распределителя со специальной мигательной панелью. Последний залп по воображению гостя давали электромагнитная колыбель-качалка с ручным регулятором скорости и соска-самососка, не требующая от ребенка никаких усилий. Стоит ли говорить, что все это электробытотехническое великолепие съедало большую часть семейного бюджета Мэйденов.

Ирэн отключила автокачалку и ласково наклонилась над колыбелью. При этом она в очередной раз удивилась, как это ей удалось произвести на свет такое славное, очаровательно-компактное и остроумно устроенное существо.

— Скажи «ма-а-ма», — заунывно протянула Ирэн, решив, очевидно, что так будет понятнее.

— Агагу-фэкс-и-и... — ответило существо с умным видом. Крут хмыкнул.

— Через неделю форсированного обучения на второй скорости фирма гарантирует усвоение более двух тысяч слов, — объявил он.

— Милый, ты чудо, — наконец-то оценила Ирэн.

— Молчи... то есть, я хотел сказать, а ты как думала!

— Это поистине странно, — ядовито-елейным голосом заговорил дедуля, коварно пристроившийся за блоком-распре-

делителем, — зачем ребенку две тысячи слов, если он не будет знать и двух десятков предметов.

— Предметы не так уж важны, — возразил Курт, — современный, то есть наиболее цивилизованный и умный человек знает гораздо больше слов, чем видел в своей жизни предметов. И это не мешает ему, кстати, расти по службе.

— Логично, — согласился дедуля, — я тоже всегда считал, что человек тем умнее, чем более беспредметна его речь.

Крут принялся распутывать провода с присосками, прищепками, зажимами и контактами, размышляя, как же подсоединить все это хозяйство к своему отпрыску.

— Перед подключением к аппарату объект обучения следует чисто выбрить и смазать антистатиком, — снова подал из угла голос дедуля, — Крут, тебе представляется первый случай намылить голову своему сыночку.

От такого сообщения Крут поперхнулся очередной мыслью и, подскочив к креслу, решительно отобрал у тестя инструкцию и принялся её листать.

— Это же раздел обучения великовозрастных дебилов, — злорадно довольным голосом воскликнул Крут, — так что намыливать голову давно пора вам, а он прекрасно поспит и так.

И Крут решительно подступил к колыбели. Тщательно сверяясь с инструкцией, он начал опутывать ребенка разноцветными кабелями.

Разобравшись в ситуации, тот стал активно протестовать, изрыгая лохматый поток бессвязных звуков, вскоре перешедший в простой рёв.

— Крут, — вступилась Ирэн, — ему это не нравится. Может быть...

— Помолчи! Может, ты хочешь спросить его совета или узнать его мнение? — и Крут включил гипноусыпитель.

Младенец успокоился, загукал, забулькал и быстро уснул. Крут наконец справился с проводами и ребенок стал похож на новорожденного паучонка.

— Вот! — воскликнул Крут, отступив на шаг. — Но это только начало. Потом мы быстренько научим его ходить, ну а тратить при современных возможностях больше года на школьный курс, это все равно, что полдня торчать в сортире, — и он победоносно взглянул на дедулю.

— Перспектива, что и говорить, шимпачишная, — прошепелявил дедуля, нежно вытирая о халат вставную челюсть. Затем он перевернул её, вставил на место и продолжал, — в месяц он научится говорить, в два — ходить, в год — кончит школу, в полтора — женится...

— Да! Ему предстоит... что?! Вы опять за свое? Мало вам скандалов в «Предпоследнем приюте», откуда вас выставили после превышения возрастной нормы? Но если вы будете еще и влиять на моего сына... — грозно проревел Крут вслед быстро удаляющейся каталке.

И багровым восклицательным знаком он опустил указательный палец на красную кнопку аппарата с надписью «жми сюда». Аппарат тихо загудел.

* * *

Итак, процесс обучения стартовал. Нельзя сказать, что были заметны немедленные результаты, так как ребенок большую часть времени глубокомысленно спал в своей электромагнитной люльке, просыпаясь только затем, чтобы поесть. Указанные в инструкции две недели, помаргивая индикаторами цифровых табло, благополучно истекали. Голос диктора, сдержанно оптимистический или сочувственно тревожный (в случае стихийных бедствий, которые, как извест-

но, бывают далеко) изо дня в день подтверждал этот процесс и сообщал ему некую закономерную бесповоротность. С приближением четырнадцатого дня атмосфера в квартире Мэйденов накалялась. Для Крута это означало накопление где-то в мозгу напряженного предвкушения триумфа, которое должно было разрядиться в ослепительной вспышке успеха. Для Ирэн ожидание выражалось формулой «будь что будет, лишь бы скорее». Что же касается дедули, то его настроения остались неизвестными, отделенные от мира стеклопластиковой дверью его любимого сортира.

Так или иначе, но из грядущего торжества Крут желал извлечь максимальный эффект. Для создания атмосферы восторженного умиления нужно было подобрать соответствующую аудиторию. Первым делом Круту пришла в голову мысль о боссе. Не потому, что тот был склонен к усиленным восторгам, а просто потому, что он был босс. Зато этим свойством в избытке обладала тетя Скрестина, готовая умиляться любому чуду цивилизации, начиная с мусоропровода и кончая будильником. Помимо этого Крут отправил Ирэн за условно знакомыми соседями, дабы придать событию надлежащую массовость. Наконец, на цифровом табло загорелась чета самодовольных нулей. Все шло по плану. Пунктуально прибывавшие гости препровождались измученно приветливой хозяйкой в детскую.

Когда все оказались в сборе, Крут замолк и, воспользовавшись этим, наступила тишина. Пройдя в ней через комнату, Крут отключил обучатель и гипноусыпитель.

— Итого, — непонятно зачем сказал он, запнулся и замолчал. — В общем, — продолжил он, — по инструкции обучаемый должен начать говорить через пятнадцать-двадцать минут.

Крут развернул люльку так, чтобы ее содержимое было видно всем, и начал отсоединять и спутывать пестрые провода.

Выдержав короткую паузу, гости снова зашевелились. Пока что ребенок только пускал пузыри и ожесточенно морщил лоб, словно обдумывая первую фразу.

— Да, славно, славно, — сказал босс, — я тоже, помнится, когда был маленьким, любил всласть поучиться, пошалить вдоволь... и говорить, помнится, начал рано. Первое слово было «дай», так сказать, активная жизненная позиция, а второе, кажется, «вперед».

Ирэн изумленно вскинула брови.

— У меня над люлькой плакат висел — «Полный вперед», — пояснил босс.

В этот момент ребенок открыл глаза. Все затихли, а Крут наклонился над колыбелью. Но ребенок молчал, изредка почмокивая. В наступившей тишине Круту внезапно показалось, что перед ним, потикивая, созревает мина замедленного действия. Он тут же старательно затоптал в себе это чувство и солидно уселся на стул рядом с колыбелью.

— Как же у вас все-таки замечательно, — решила, наконец, выразить свое восхищение тетя. — Какое счастье родиться среди всего этого и прямо с младенческих лет...

— Он родился в клинике, — перебила Ирэн.

— Ну да, я и говорю, это так увлекательно, с детства родиться в большом городе, — продолжала щебетать тетя, постепенно затихая, — такие возможности впереди, столько больших дорог...

Впрочем, ее никто не слушал. Босс, почему-то взяв Ирэн за руку, начал благодушно вспоминать эпизоды из своего детства. Тем временем маленький рыжий сосед, доверительно подсев к Круту и зацепив его под локоть, заговорил.

— Ах, Крут. Как я вас понимаю. Это потрясающе остроумно, хотя и недешево, надо полагать. Мне бы никогда

не пришло в голову. Моя Бугги... вот-вот, как видите. И я уже полгода мучаю свои мозги на эту тему. А это такой блестящий ход. То есть, конечно, я не против маленьких детей в доме, но это же, сами знаете, стихийное бедствие. Лет, эдак, на десять. Крики, беготня, пеленки... А у вас — говорить через две недели! И ведь, я уверен, он скоро и мочиться в постель перестанет, а потом сразу ясли при университете. Ох, Крут, какая идея! Вы меня просто спасли. Как вы думаете, — и он кивнул в сторону жены, — может, нам начать сеансы прямо сейчас?

Его временно повышенных габаритов супруга сидела в двухместном кресле и, видимо, прислушивалась к собственным ощущениям. Лицо ее при этом выражало приблизительно следующее: «Начиналось-то все вполне мило, но вот чем это закончится...»

Внезапно все разговоры были прерваны настойчивым покашливанием. Присутствующие начали оглядываться друг на друга. После повторного «кхе-гхр-м» все разом уставились на колыбель. Крут схватил собеседника за рукав и начал судорожно его мять. Никто не заметил, как в комнату тихо вкатил дедуля, умудрившийся выбраться-таки из сортира, в котором Крут удачно запер его утром. Ребенок поднял голову и в полной тишине, старательно открывая рот, тоненьким плаксивым голосом произнес:

— Мама, — Ирэн сразу расцвела и шагнула к колыбели.

— Папа, — неуверенно добавил ребенок и, поразмыслив, продолжал, — а также бабушка, дедушка и кто там еще?... Ах, да, тети и дяди.

Уже готовые к восторгам гости насторожились.

— Разрешите мне, — окрепшим голосом продолжал малютка, — в первую очередь передать вам поздравление фирмы «Бэби Прогресс Лимитед»! Только что вы имели прекрасную возможность убедиться в превосходном качестве ее изделий.

В связи с этим фирма настоятельно рекомендует вам свою последнюю новинку, с блеском прошедшую бытовые испытания — Динамический Обучатель Образа Мыслей, который позволит адекватно... ква... кватизировать личные перспективы согласно общественным горизонтам.

А теперь, уже от моего личного имени, я хочу поздравить вас и меня с появлением меня у вас, то есть с вашим по поводу меня решением меня вами породить, то есть меня путем вас в виде меня приобретения к вящей вашей и менявной радости, что меня мной, ва-шества у вымя-ня-мя-а-а-а!..

Гости ошеломялись молчали. Крут икнул, но никто, в том числе и он сам, этого не заметил.

— А-а-у-у,— продолжал, захлебываясь, вопить ребенок. Первой опомнилась Ирэн, она извлекла его из колыбели и принялась укачивать, время от времени похлопывая в нос.

— Вот и чудно, вот и все прошло,— бормотала она, словно ребенок только что очнулся от тяжелой болезни,— не будет больше злой машины. Скажи «мама». Нет, молчи, лучше покричи еще. Крикни «а-а-а».

Впрочем, ребенок и не думал замолкать. На лице Ирэн впервые за этот день появилась счастливая улыбка. Крут, которого каким-то образом вынесло на середину комнаты, странно пятился по кругу, налетая на покидавших комнату гостей.

— Кстати, Крут,— неожиданно заговорил скромно притаившийся в углу дедуля, обмахиваясь развернутой инструкцией к обучателю,— тут написано, что с каждым днем речевые сеансы будут увеличиваться, так что завтра ты сможешь собрать новых гостей. Ты же так любишь все новое.

Крут разъяренно обернулся, но впервые не нашел, что ответить. Он только пошарил в кармане и, найдя там кукиш, крепко сжал его в кулаке.

Вечная история



Старший эксперт по изобретениям группы «F» Розенблум не любил свою работу. Однако эта мысль, появившаяся около года назад, отнюдь не искалечила его жизнь. Она пришла к нему спокойно, как соседка по этажу за солью, и, словно забыв, зачем пришла, осталась с ним навсегда. В конце концов, мало ли таких же, как он, которые изо дня в день, всю свою жизнь... и ничего. Никаких проблем.

Одно негативное следствие этой ситуации все же было — Розенблум изнывал от скуки. Вдобавок это усугублялось тем, что он был не настолько глуп, чтобы с упоеанием решать кроссворды или ковыряться в головоломках. Единственное развлечение в его кабинетной жизни составляли посетители, приносящие к нему плоды своих научно-технических прозрений. И чем меньше становилось таких посетителей, тем большую нежность испытывал к ним Розенблум, тем деликатнее и осторожнее преподносил он очередной отказ, тем ободрительнее и элегантнее он излагал при этом свою философию творческого оптимизма и свой взгляд на вклад отдельной личности в развитие общества. И, тем не менее, число посетителей неуклонно уменьшалось.

Пятница, а с ней и вся рабочая неделя, подходила к концу. Тяжелый воздух городского лета, смешанный с запахом асфальта и табачным дымом, устало висел над ковровой дорожкой, ведавшей к его столу. Кондиционер опять не работал, грузная фигура Розенблюма расплылась по креслу, прочно заняв собой зону минимума потенциальной энергии. Внезапно в дверь боязливо постучали. Стук был настолько осторожный, что Розенблюму показалось, будто от жары стучит кровь у него в висках. Пока он размышлял, так ли это, дверь тихо приоткрылась, и в образовавшуюся щель боком протиснулась невзрачная фигура, тащившая средних размеров картонную коробку. Вошедший выглядел именно так, как в сознании обывателя должен выглядеть фанатичный изобретатель-одиночка, трудящийся на благо общественного прогресса где-нибудь на захламленном чердаке. Тощий, сутулый, в плохо выглаженном мешковатом костюме, лохматый в меру своих жидких волос, с бледным лицом в свежих порезах от безопасной бритвы, на котором неровно сидели маленюкие блестящие очки.

— Добрый день, — сказал он, подойдя к столу и с каким-то робким нахальством сунув Розенблюму чуть ли не в живот свою руку.

— Здравствуйте. Присаживайтесь, — сдобным голосом проворковал Розенблюм, в предвкушении очередной беседы.

— Меня зовут... — продолжал посетитель. Фамилию его Розенблюм не запомнил, но, кажется, она была похожа на марку его нового холодильника.

— Очень приятно. Старший эксперт Розенблюм.

— Мне сказали, что это группа «F», — и посетитель взгромодил на стол свою коробку с недосодранной наклейкой «Не канто... Осторожно сте...», — и что я должен обратиться к вам.

С этими словами он вытащил из коробки странную конструкцию, казавшуюся грудой разнообразного металлического хлама. Сбоку у нее торчала ось, на которую было надето колесо от детского велосипеда. Колесо вращалось.

— Вы знаете, — сбивчиво стал объяснять посетитель, который, как оказалось, еще и шепелявил, — я применил здесь довольно интересный принцип. Этот движок, он... ну, в общем, он не нуждается ни в каком искусственном источнике питания, ни в топливе, ни в чем...

Розенблум профессионально улыбнулся и пододвинул аппарат к себе.

— Как же, как же... — забормотал он, и принялся искать отделение для батареек. Конечно, такие инженерные мистификации могли заинтриговать какого-нибудь школяра, безуспешно грызущего основы термодинамики, но Розенблум был стреляный воробей, и... батареек не оказалось. Тогда он поднял голову, тщательно укрепил на сочном носу свои министерские очки и пристально взглянул на изобретателя. Он попытался представить себе его семью: тиранию упитанной жены, издевающейся над его «железяками», ворох обожающих мелкие диверсии детей, сарказмы соседей и сослуживцев, маленькую зарплату... И Розенблум почувствовал себя хирургом перед чрезвычайно болезненной, но, увы, неизбежной операцией.

— Видите ли, — начал он, — безусловно, для окончательной оценки вашего детища потребуются подробное рассмотрение, но я считаю своим долгом сперва привести вам некоторые соображения. Вы знаете, что такое вечный двигатель?

— Да, конечно, это когда...

— Совершенно верно. Это аппарат, способный совершать работу без подвода энергии извне, то есть, грубо гово-

ря, без источника питания, в течение неопределенно долгого промежутка времени. Создать такой аппарат, как известно, нельзя.

— То есть, вы хотите сказать, что...

— Я хочу сказать, что то, что вы принесли, это ни больше, ни меньше, как, приблизительно, стотысячная попытка построить вечный двигатель.

— Но постойте, разве я сказал, что он будет работать вечно? Вы же сами знаете: усталость металла, скрытые дефекты структуры, коррозия, в конце концов. Думаю, больше двух-трех сотен лет он не протянет.

— Хм! Вы меня не поняли. Вечный двигатель — это своего рода термодинамическая абстракция, касающаяся замкнутых систем, — крадчиво заговорил Розенблюм, ощущая всем телом наполнявшую его упоительную компетентность, — а вы восприняли мои слова буквально. Если подходить так, то вечный двигатель вполне возможен. Вот, например, феномен жизни. Чем не вечный двигатель? Прочно, вечно, и тоже может совершать работу. Если заставить, конечно. Но жизнь, к сожалению, открытая система, и под нашу формулировку не подходит. Так что Господь Бог, вероятно, создал жизнь прежде, чем придумал термодинамику.

Наступила пауза. Розенблюм улыбнулся своему остроумию и почему-то пожалел, что на столе у него нет зеркала. Затем он начал сосредоточенно перекаладывать папки и переставлять чернильницы, искоса поглядывая на собеседника.

Изобретатель поднял голову и несколько ошарашенно посмотрел на Розенблюма.

— У меня, правда, нет высшего образования, но я думаю, что здесь совершает работу некоторое наложение полей. И потом, — отчаянно проговорил он, видя скептическое

выражение лица старшего эксперта, — ведь, в конце концов, он же работает! Уже больше недели!

— К сожалению, это ничего не значит. «Ничто не вечное под луной...», — сказал поэт. А я добавлю: почти ничто не долговечно. Так что, думаю, несколько дней, и ваш аппарат, согласно всем физическим законам, благополучно остановится.

— И что же теперь с ним делать?

— Главное — не расстраиваться. Во-первых, найденные вами конструктивные решения могут найти иные аспекты своего применения. — Розенблум вышел из-за стола и отечески похлопал изобретателя по костлявому плечу. — А во-вторых, что, на мой взгляд, самое важное, — Розенблум повернулся к висевшему на стене огромному портрету седобородого человека с проникновенным взглядом и почувствовал себя полностью в родной стихии, — неоценим тот высокий нравственно-психологический импульс, который несет с собой любое творчество на благо всего нашего высокоразвитого общества, объединенного единой целью...

Розенблум осекся, потому что за изобретателем, скрипуче всхлипнув, затворилась дверь. В наступившей внезапно тишине было слышно лишь мелодичное жужжание оставленного им устройства, которое, как ни в чем не бывало, продолжало вращать своими нелепыми инфантильными частями.

С навязчивым ощущением испорченного удовольствия Розенблум с трудом взобрался на табурет и водрузил аппарат на шкаф между ящиком с мадагаскарскими кактусами и запасным графином. Спустившись вниз, он взглянул на часы и понял, что еще одна рабочая неделя благополучно скончалась.

* * *

Строго говоря, причин для раздражения не было. Совсем недавно, после пяти первых лет безупречной службы, проведенных за обшарпанным столом в углу громадной комнаты рядом с еще четырьмя такими же, как он, скромными коммуникаторами, Эдуард Иондюк наконец-то продвинулся по службе. Он стал коммуникатором-координатором. Более того, теперь он продвинулся еще и по вертикали, т.к. получил взамен углового стола в своей «казарме» (как он ее называл) на десятом этаже просторный кабинет на 36-м, куда переехала часть его Межведомственного управления финансовых коммуникаций, вытеснив какую-то изобретательско-рационализаторскую контору.

В общем и целом, Эдуард Иондюк был доволен жизнью. Но почти безуспешная двухчасовая борьба с небулавляющимися залежами всевозможного хлама, оставленного предыдущим владельцем кабинета (не дай Бог ему здоровья!), может вывести из себя кого угодно.

Иондюк был сердит, но упрям. Он вытаскивал из ящиков стоек, этажерок, полок невообразимой толщины папки, остервенело комкал и сгребал в кучу на ковре отовсюду выпадающие бумаги, передвигал, переставлял...

— Перестаньте возиться в этой пыли, Эдуард, вызовите уборщиков, — тиетно зывала к нему стоявшая на пороге и положенная теперь ему по должности секретарша.

— Пока дождешься этих разгильдяев, здесь все зарастет мхом окончательно, а я человек дела! — заявил Иондюк, и храбро вскарабкался на сооруженную им пирамиду из стульев, чтобы расчистить верхнюю полку огромного конторского шкафа. Он снял графин, покрытый мохнатым серым

плащом из пыли, и снова решительно запустил руку в это скопище хлама. Внезапно, отрывисто вскрикнув, он выдернул ее обратно и впился зубами в указательный палец. Через минуту он осторожно стянул со шкафа тяжелую картонную коробку. Из нее во все стороны торчали пузатые темно-зеленые растения, добродушно щетинясь всевозможными иглами и шипами.

— Какой идиот додумался разводить здесь эту дрянь! — свирепея от возмущения и боли в пальце, зарычал Иондюк. И, не успев подумать о возможных последствиях, он вышвырнул злополучную коробку из окна 36-го этажа. Затем с чувством выполненного долга вернулся к разгрузке шкафа. На пол посыпалась новая партия папок, бумаг, свернутых плакатных труб, желто-серых от старости справочников, скрепок и пр. Наконец, из самого дальнего угла расчищенной полки вспотевший Иондюк озадаченно извлек последнего ее обитателя. Это была довольно странная система механических приспособлений, смонтированная, судя по всему, на половине дверцы от шкафа. Вдобавок к своему внешнему виду, она еще и работала. По крайней мере, сбоку, насаженное на вал, крутилось маленькое колесо.

Иондюк, как мы помним, был человек дела. Мало того, за годы образцовой службы он привык относиться к миру по принципу непрерывного извлечения малой пользы, из кирпичиков которой, как известно, строятся большие успехи. А малую пользу, как он усвоил, можно извлекать из всего — был бы глаз.

— Матильда, — обратился он к секретарше, промокнув платком вспотевшую плешь и лоб, — возьмите-ка ножницы и вырежьте мне пропеллер из картона. Ну, скажем, в три лопасти.

Готовый вскоре пропеллер был насажен на вал рядом с колесиком, и на столе нового владельца кабинета появился вполне сносный вентилятор. Вентилятор этот, как впоследствии выяснилось, не ломался и не жег казенного электричества, вкладывая тем самым свой крохотный «кирпичик малой пользы» в общее дело.

* * *

По лицу начальника экскурсионного бюро старший экскурсовод поняла, что сегодня ей снова вести детей. В такие дни она начинала ненавидеть свое теплое, или, как говорил ее муж, тепловатое местечко в знаменитом Музее Истории Научной Мысли.

— Видите ли, — заговорил начальник отдела, — у меня к вам огромная просьба. Вы сами знаете, как у нас туго с кадрами, а план посещений каждый год поднимают, так что...

— Ну хорошо, дети, так дети, — заранее утомленным голосом перебила она его бормотание, — хотя бы старшие?

— Вторая ступень, — виновато улыбнулся начальник отдела. Не став выслушивать его сбивчивые извинения, она выскочила за дверь, проклиная в душе тот день, когда ей посчастливилось попасть в Музей.

И вот потянулась нескончаемая череда залов, через которые она, как мушиный пастух, гнала свое трудноуправляемое стадо. Текст экскурсии был сокращен до минимума, а все оставшееся время занимали постоянные окрики, команды, призывы и просто междометия, как правило, многократно повторяемые, и все равно заглушаемые специфическим детским шумом. Внимание экскурсовода было напряжено до предела с целью уберечь экспонаты от поломок, а детишек — от несчастного случая. И все равно стенд каменных

топоров едва не рухнул на голову одному сорванцу, а другой решил запустить действующую модель паровой машины, в то время, как два его приятеля обследовали котел. К счастью, все обошлось, поскольку модель, как всегда, не сработала. И все это под постоянный аккомпанемент тех самых печально известных детских вопросов, у которых есть только одно достоинство — на них, как правило, невозможно ответить, поэтому никто и не пытается это сделать.

Наконец-то последний зал. Усталые, запыхавшиеся, но все равно агрессивные, дети окружают ее и тычут пальцами в стекло, за которым крутятся колесики и шестеренки механизма, чем-то напоминающего сборный детский конструктор.

— Все посмотрели теперь на эту витрину, дети. К тебе, мальчик, это тоже относится. Видите эту... э... штуку? Это действующая модель так называемого вечного двигателя. Вам уже, конечно, рассказывали, что его создать невозможно.

Дети, как всегда, не обращали на ее слова никакого внимания. Лишь один любопытный толстячок в больших роговых очках на носу-пуговке уставился на непонятную табличку «Perpetuum Mobile», потом перевел взгляд на систему колесиков и шестеренок. Понаблюдав за ее мерным вращением, он обернулся и удивленно спросил:

— А почему он работает?

— Потому, что это модель, — ответила экскурсовод, раздраженная его непонятливостью.

— А такой же большой можно построить? — не унимался юный рационализатор. Но измученная нервная женщина уже погнала все галдящее стадо к следующему стенду с большим количеством моделей и яркой надписью «Ядерные станции». К счастью, этот стенд был последним.

* * *

Планета приближалась. Биодетектор светился едким зеленым цветом, указывая на присутствие живой материи. Экипаж косморазведчика ненавидел сектор 457, на исследование которого уже ушло семь циклов без единого отпуска.

К счастью, ЖПЦ-18, третья планета Альфы Клопа, была последней, требовавшей прямой инспекции с посадкой и составлением протокола. Конечно, это была пустая формальность. Да, спектральный анализ указывал на наличие жизни. И если по результатам разведки сектор 457 сочтут пригодным для прокладки гипертоннеля, то все живое в секторе будет уничтожено квантовой эрозией вакуума. Но при том уровне радиации, который излучала ЖПЦ-18, там можно было ожидать только наличие бактерий, водорослей или, в крайнем случае, примитивных растений. Так что, в принципе, можно сразу внести в протокол, что разумная жизнь на ЖПЦ-18 отсутствует и, согласно Кодексу Охраны Разума, злосчастный сектор 457 является необитаемым и пригодным для строительства гипертоннелей.

Но устав есть устав. Кроме того, высокий уровень радиации указывал на возможные залежи урановой руды. Конечно, brave разведчики — это вам не какие-то жалкие геологи, но от бонуса за открытие месторождения сырья для космотоплива не откажутся. Так что посадка, протокол, пробы грунта — и домой!

Готовясь к торможению, Кочегар взял черпак и, спустившись в трюм, швырнул свежего урана в приемный люк уже начинающего выдыхаться реактора.

— Садиться будем вслепую, — крикнул Пилот, — на этих проклятых кислородных планетах наши гравилокаторы всегда показывают черт знает что. Так что брось черпак и присосись.

— Ну вот, вслепую, присосись... Да если б тебя не угораздило назвать адмирала разведфлота жертвой инбридинга, мы бы сейчас уже висели дома и жевали галаудиногенных червей...

Вместо ответа Пилот запустил посадочные двигатели, и ускорение втиснуло Кочегара в капсулу, а готовые вырваться протесты — обратно в его волосатую пасть. Пилот считал ниже собственного достоинства пререкаться со своим напарником, поскольку тот был младше его на три уровня. Он откинулся в своей капсуле и впал в приятную прострацию, которую всегда вызывали в нем тридцатикратные перегрузки. Вывел его из этого состояния резкий удар, за которым следовал протяжный скрежет. Пневмозащита, как всегда, не работала, и от кормы опять отвалилось несколько дюз. На этот раз ничто не помешало Кочегару затейливо выругаться, и Пилот был в душе с ним согласен, однако промолчал и посмотрел на приборы. Судя по индикаторам, автопилот посадил их в зону с наивысшим уровнем радиации. Они надели на всякий случай по два скафандра и выползли через нижний люк.

Вокруг, до самого горизонта, аппетитно позлащенные заходящим светилом, простирались... нет, отнюдь не девственные холмы из мягкого грунта, доверху набитые свежим ядерным горючим, а всего лишь руины. Закопчённые обвалившиеся стены, спутанные железные конструкции, трухлявые заборы... Сквозь это адское археологическое месиво пробивалась чахлая, но жилистая растительность.

— Неплохой фейерверк здесь был витков десять назад, — жизнерадостно проговорил Кочегар, подползая к Пилоту, — да и сейчас пейзаж смотрится довольно живописно.

— Идиот, чему ты радуешься, — вскипел Пилот, — плакал наш бонус. Никакого уранового месторождения тут нет, а эту малоактивную рухлядь можно использовать разве что для

производства пестицидов. Так что заполняем протокол, и домой, — и Пилот пополз назад к кораблю.

— Погоди-ка. А вдруг тут есть разумная жизнь, а мы и не заметили. Это раньше за халатность только штрафовали, а теперь можно загреметь на воспитательные работы.

От мысли о возможном переводе на должность воспитателя молодняка Пилот вздрогнул:

— Ладно, запускай беспилотник, а я пока осмотрю окрестности. Только не похоже, что на этой планете выжило что-либо кроме микроорганизмов и растений... Ну кто так воюет, Боже, кто так воюет, — он презрительно махнул щупальцем на уродливый желто-серый пейзаж, простиравшийся до самого горизонта. Этот мир был безнадежно мертв; его вывороченные наизнанку внутренности угрюмо скалились в ядовитое кислородное небо.

— А вдруг кто-то из воевавших остался в живых? — продолжил Кочегар, — Может, у них есть норы с радиационной защитой?

— Не похоже. А если кто-то и остался, долго им все равно не продержаться при такой радиации.

— Ну, кто знает...

— Ты что, домой не хочешь? Хочешь вместо отпуска еще один сектор исследовать? По уставу мы должны убедиться в отсутствии разумной жизни. Так?

— Ну, так...

— К какой категории относится вид или сообщество, уничтожающее себя примитивным ядерным оружием?

— Категория Z, Нестабильная До-разумная Псевдо-Цивилизация, — запнувшись, как на экзамене, проговорил Кочегар.

— Правильно. На Категорию Z Кодекс Охраны Разума не распространяется, так что выжил или нет кто-то из воевавших, значения не имеет.

Внезапно Пилот ощутил какое-то движение неподалеку. «Странно, — подумал он, — расти так быстро невозможно, а высшие животные при этом уровне радиации... Неужели экзомутанты? Ну и место».

Он быстро сполз со своего ложа и, пробравшись вдоль обвалившейся стены, отгреб несколько булыжников. Там, в яме, мелодично шелестя, крутились колесики и шестеренки непонятно каким образом уцелевшего аппарата. Пилот вытянул щупальце и пододвинул аппарат к себе:

— Да ну, — Пилот на мгновение онемел, — преобразователь энергии четвертого рода, главный признак Суперцивилизации высшего ранга — Категория А, черт бы её побрал. Странно, что они так плохо кончили.

— Ага! Я был прав, надо было проверять...

— Накаркал — и рад. Плакал теперь наш отпуск. Чувал мой задний мозг, что от Альфы Клопа ничего хорошего ждать нельзя. Теперь без неопровержимых доказательств, что на всей планете нет ни одного выжившего разумного существа или даже замороженного эмбриона, нам придется зарегистрировать сектор 457 как обитаемый, и значит — непригодный для гипертоннеля.

Пилот с досадой спихнул аппарат обратно в воронку и пополз к месту посадки.

Не прошло и четверти местных суток, как косморазведчик стартовал, взяв курс на еще не разведанный сектор 458 с надеждой на отсутствие там разумной жизни.

* * *

Был ослепительно ясный полдень, и движущиеся фигуры можно было увидеть издали. Впрочем, последние 15 лет все полдни были ясными. Фигуры двигались медленно, друг

за другом, осторожно ступая по раскаленному щебню. Странно, что они вообще могли двигаться, нелепые, бесформенные, и, однако, уместные в мертвом ландшафте бывшего города. Только опытный наблюдатель мог узнать в них людей, одетых в защитные комбинезоны, когда-то зеленые, а теперь пятнисто-серые от покрывавшей их пыли.

Дышать было трудно. При каждом вдохе сквозь противогаз с тройным фильтром мокрая маска прилипала к лицу, а грудная клетка словно разжимала огромные тиски. В носках ботинок чавкали лужицы собственного пота, которым была насквозь пропитана одежда, да и вся атмосфера внутри комбинезона. Сквозь запотевшие стекла противогаза окружающий пейзаж едва просвечивал в дымке испарины, что придавало ему некоторую нереальность. Благодарили ли они судьбу за счастье выжить после ядерного катаклизма, было не ясно.

Внезапно шедший впереди унтер закинул за плечо автоматическую винтовку, которую он держал в руках, и, взглянув на шкалу висевшего на поясе прибора, махнул рукой.

— Стой, — коротко выдохнул он в переговорное устройство, — дальше нельзя. Слишком сильно фонит. Пойдем в обход.

И группа, свернув направо, углубилась в развалины. Унтер непрерывно водил по сторонам датчиком на длинной штанге. Внезапно он заметил небольшое движение в глубине воронки. Моментально отбросив датчик, он схватил оружие наизготовку и укрылся за каменным выступом. Шедшая за ним группа залегла. Унтер подумал, не бросить ли туда гранату, но потом любопытство победило, и он хрипло отдал приказ:

— Эй, Ковальский, посмотри-ка, что там, я прикрою.

Один из его спутников подполз к краю воронки и осторожно заглянул внутрь. Потом он встал, спрыгнул вниз и через

несколько минут выбрался наружу, держа в одной руке винтовку, а в другой — странный аппарат, напомнивший унтеру клинкетный насос. Все поднялись и столпились вокруг стоящего на земле и, очевидно, работающего механизма.

Унтер подошел к ним и, не зная, что сказать, молча уставился на непонятные вращающиеся шестеренки. Окружающие тоже молчали.

— Во, вечный двигатель, — внезапно сострил кто-то, и все отделение глухо забухало в противогазы ленивым, усталым хохотом.

— Какой же он вечный! — буркнул унтер, задетый тем, что кто-то оказался сообразительнее его. Он с размаху опустил ногу в тяжелом резиновом сапоге на хрупкую конструкцию из двигавшихся деталей. Раздался хруст, и колесико, сделав последний круг, остановилось.

Машинально издав еще несколько смешков, солдаты снова построились в колонну и медленно побрели вслед за унтером в обход опасной зоны. Вскоре их неуклюжие фигуры скрылись в развалинах, и вокруг окончательно воцарилась теперь уже никем не нарушаемая неподвижность.

Исцеление от счастья



Яркий свет софитов. В кадре крупным планом безбрежно плещется зеленоватая вода. Рапидная съемка.

Координатор (выныривает на середину бассейна, хватается за розовый надувной матрац, влезает на него, улыбается): Я бы добавил еще хвойного порошка и голубого красителя. (Зачерпывает в горсть воды и бросает в жерло камеры, по телеэкранам стекают зеленоватые капли.) Приветствую всех! А тех, кто нас видит, вдвойне! Сегодня мы собрались в нашей любимой телепередаче «В мире желаний» (камера отъезжает, экран вмещает уже весь бассейн, где дрейфуют четыре разноцветных матраца с возлежащими участниками экспресс-дискуссии), чтобы затронуть наболевшее. Да, да, наболевшее.

Обобщенный потребитель: Что значит, наболевшее? У нас все в порядке. Все есть. Чего еще желать?.. (делает внушительный глоток из пивной кружки, остаток выплескивает в воду).

Координатор: Вот в этом-то и состоит наша сегодняшняя тема.

Смена кадра. Зеленая лужайка, скатерть с фруктами, вокруг лежат четверо участников, аппетитно чавкающие.

Широкий отклик: Однако многие наши внешкоры считают иначе. Наша обильная почта буквально набита всякими потребностями. Как вы это объясните? (швыряет огрызком в консультанта).

Консультант по общим вопросам: Это вполне естественно. Согласно последним теориям, планомерное удовлетворение потребностей вызывает образование новых потребностей в геометрической прогрессии, которое в свою...

Все остальные (хором): Хватит, хватит, мы поняли.

Смена кадра. Кегельбан с разноцветными хрустальными шарами. Слева стойка бара, справа чучело снежного человека.

Координатор: Однако с прискорбием вынужден сообщить, что, по статистике, уровень потребностей падает. (С размаху швыряет шар, звон битого стекла.) Они становятся короткоживущими, мельчают, так сказать. (Вынимает из кармана маленький шарик, швыряет. Взрыв, смена кадра.)

Консультант: Это тоже вполне естественно. Общий закон сохранности приводит к тому, что качество переходит в количество и за счет этого...

Все остальные (хором): Хватит, хватит, поняли.

Смена кадра. На экране стол с чайным сервизом, самовар. Четверка вокруг во фраках и цилиндрах.

Координатор: Однако не все еще потеряно. Для выявления новых потребностей и был создан Обобщенный Потребитель. (Потребитель встает, кланяется, гулко бьет себя железным кулаком в грудь, мигает всеми лампочками). Сейчас он должен сформулировать и обобщить основные набо... на-

сушные потребности нашего народа. (Встает, надевает свой цилиндр на самовар и начинает его раскочегаривать).

Обобщенный потребитель: Народ хочет хлеба.

Широкий отклик: Пожалуйста (протягивает ему поднос с булочками). Потребитель берет две, сует в рот и начинает громко чавкать.

Смена кадра. Пейзаж с птичьего полета. Слева саванна, справа джунгли, на заднем плане — айсберги. В кадр медленно спускается четверка на разноцветных парашютах.

Координатор: Что ж, потребность в хлебе, можно сказать, удовлетворена (смотрит на доедающего Потребителя)... вдвойне.

Обобщенный потребитель: Но одного хлеба народу мало!

Консультант: История учит, что помимо хлебной компоненты потребностей народ имеет тенденцию хотеть...

Все: Хва!..

Консультант: А-а-а... (стропы его парашюта обрываются, он падает, причем его относит на заднюю ледовито-морскую часть кадра, шлеп! он скрывается под водой)

Координатор: Это смотрелось неплохо!

Широкий отклик: Что-что, а зрелища нам тоже частенько перепадают.

Смена кадра: участники восседают на трапеции, которая раскачивается под куполом цирка, внизу рычаг и скалятся толстомордые тигры.

Широкий отклик: Хочешь — в цирк иди, хошь — экскурсию в «преисподнюю», хошь...

Обобщенный потребитель (роняет ботинок в пасть тигру, тот давится, задыхается, и издыхает): — Это все не то! Зрелище должно захватить массы. Быть общим делом! Надоело, разбежавшись по тихим кулуарам, крутить интимные видеозрелища. Зрелище должно объединять, как в старые добрые эти самые. Народ желает единения в активном созерцании!

Смена кадра. Караван в пустыне, на горизонте — гряда пирамид, за ними Фудзияма.

Координатор: Мудрые древние не раз баловались массовыми зрелищами — всякие там демонстрации, распятия, карнавалы... (Пришпоривает верблюда, у того из горбов вылетают фонтанчики воды).

Широкий отклик: Да, да, вот и некоторые из многих нам об этом пишут.

Обобщенный потребитель: А что такое карнавалы?

Координатор: Об этом нам придется спросить консультанта.

Смена кадра. Средневековая камера пыток. Консультант встроен в замысловатую конструкцию из досок, ржавых крючьев, колес, рычагов и зазубренных лезвий. Ведущий задумчиво тянет за один из рычагов.

Консультант: А-а-а... Ма-ма-ма... Массовые мероприятия. Вот, что такое карнавалы. Это когда все одинаково одеты и маршируют в ногу и кричат «ура-а». А-а-а!

Обобщенный потребитель (загоревшись): Отличная идея! Но где взять столько одинакового народу?

Координатор: Учредим специальную организацию!

Смена кадра. Утопанный дворик перед старинным замком. В нем маршируют четверо рыцарей в доспехах.

Широкий отклик (поднимая забрало): Судя по письмам, в желающих недостатка не будет.

Координатор: Мы назовем их — Союз Постоянных Карнавальщиков.

Обобщенный потребитель (выхватывая меч): Ура! Да здравствует СОПОК!!! (Одним ударом срубает голову Консультанту).

Режиссер: Стоп, стоп! А теперь все то же самое без текста! Быстро, быстро!

* * *

У врача было грустное лицо. Слегка опущенные углы губ, тусклый, хотя и пристальный взгляд, впалые щеки... Это вызывало легкое удивление. Х давно уже не встречал грустных лиц: на похоронах он не бывал, а так, где же их еще встретишь? Впрочем, бывают выражения лиц, которые не соответствуют ни настроению, ни характеру, а просто наличествуют как нечто врожденное.

Х поздоровался и мягко улыбнулся, желая показать, что не доставит врачу чрезмерных хлопот.

— На что-нибудь жалуетесь? — спросил врач со странной интонацией.

— Нет, что вы, я, собственно, хотел с вами посоветоваться...

— Стоит ли, наконец, заводить ребенка, если жена против, а вам все равно, — закончил врач.

— Нет, нет... то есть, жена действительно против, но я пришел по другому поводу. У меня, вы знаете, последнее

время немного ухудшился цвет лица, появилась легкая одутловатость и...

— Так все-таки жалуетесь, — словно бы оживился врач.

— Ну, не могу сказать, что меня это очень волнует... Но наш семейный врач сказал, что это скорее всего связано с печенью, и рекомендовал обратиться к вам. Да я и сам считаю, что пора ее заменить на обычную искусственную, и хлопот меньше, и самочувствие, да и вообще... — он запнулся, взглянув на угрюмое лицо врача.

— Вам так хочется избавиться от собственной печени?

— Да нет, я, в общем, не спешу, но с нормальной спокойнее, и большинство моих знакомых уже давно...

— Для начала, — вдруг решительно перебил его врач, — мне хотелось бы составить полную картину вашей внутренней наружности.

Не слушая сбивчивых объяснений, он велел раздеться и уложил его на мягкое пластиковое ложе. Облепленный датчиками на присосках, Х лежал на спине и уже, наверное, в десятый раз прослеживал взглядом длинную, тонкую и ветвистую трещину в потолке. Концы ног постепенно начинали зябнуть, но в этом было даже что-то приятное. Врач сидел за пультом, перебегал пальцами по сенсорным переключателям, вглядывался в экранчики и невнятно бормотал нечто вроде «ну да... угу... этого и следовало...».

— Одевайтесь, — наконец произнес он. — Откровенно говоря, — тут врач слегка понизил голос, словно показывая, что вообще-то откровенничать с больными не полагается, — откровенно говоря, не могу вам сказать ничего утешительного.

— Неужели что-то серьезное? — удивленно, но довольно безразлично справился Х, — я готов на замену печени хоть завтра.

— Если бы все было так просто...

— Что вы хотите сказать?

— Скажите, а дома у вас все в порядке? — ответил врач вопросом на вопрос.

— Да, конечно, — недоуменно ответил Х, — а что, собственно, там может быть не в порядке?

— Конфликты с женой, коллегами?

— У меня прекрасные отношения со всеми, — тоном уязвленной гордости произнес Х.

— Ну да, этого-то я и опасался, — пробормотал врач, — значит, никаких сложностей, неприятностей?

— Доктор, — Х заговорил уже вполне уверенным голосом, — вы совершенно отстали от жизни. Ну, у кого сейчас могут быть неприятности? Все уже давно забыли, что это такое.

— К сожалению, я знаю это слишком хорошо, — двусмысленно ответил тот, — и ваша полуразрушенная печень и атрофировавшиеся почки — прямое следствие этой жизни. Замена вас не спасет, всего вас не заменишь. Вам необходимо назначить принципиально иное лечение, — и врач выжидающе замолчал, глядя на Х.

— Я, конечно, полностью вам доверяю, док, — кивнул Х, не высказав особого удивления, — Поступайте, как сочтете нужным. И что же это за лечение?

— Дискомфорт-терапия, — торжественно произнес врач, и к голосу его явственно примешалось злорадное удовлетворение.

* * *

Самым неприятным и изматывающим был ветер, холодный, цепкий, пронизывающий. Он раскачивал лесенку и, казалось, вот-вот должен был оторвать от нее Х и швырнуть

на асфальт вниз. Капроновые ступеньки предательски прогибались. Как вообще эти ниточки могут выдерживать взрослого человека? Раз выдержат, другой, а потом...

Этажа с четвертого начиналось парализующее воздействие высоты. Чем выше забирался Х, тем большее стеснение он ощущал где-то в области желудка, тем труднее было не смотреть вниз. Можно было, конечно, смотреть в окна, очень познавательно, а, впрочем, довольно скучно, везде одно и то же. Наконец Х неуклюже перевалил туловище через подоконник и плюхнулся на ковер. Ну, вот он и дома. Говорят, раньше в домах были не только лифты, но еще и обыкновенные внутренние лестницы. Они подошли бы гораздо лучше: тоже, в общем-то, дискомфорт, зато куда безопаснее.

Х погрузился в кресло, дыхание его постепенно успокаивалось, в висках перестало стучать. Он сбросил лечебную обувь: грубые ботинки на очень высоких узких каблуках, которые были ему малы и, следовательно, жали. На сегодня с дискомфортом было покончено. До тех пор, пока не придется улежась спать на специальное лечебное ложе: доски, покрытые всего лишь двумя поролоновыми матрацами. Х вытащил из бара, скрытого в ручке кресла, бутылку витаминизированного бренди, плеснул немного в узкий высокий стакан, забросил ноги на низкий столик... Тело наполнилось приятным расслабленным покоем, а душа — комфортом. Он нажал на кнопку и большой экран на противоположной стене заестрел яркими кадрами, сопровождаемыми голосом диктора:

— ...опережающими темпами. Уже освоено более тысячи гектаров целинных площадей, на которых в соответствии с перспективным планом колонизации планеты ведется тесное сотрудничество с дружелюбным местным населением. Передовые отряды...

На экране продолжала мелькать пестрая каша тропической растительности, на фоне которой, почему-то короткими перебежками, двигались одинаково одетые люди с различными инструментами в руках. Х не обращал на экран особого внимания, поглощенный ощущением выполненного долга перед собственным здоровьем. В это время дверь справа бесшумно откатилась в сторону, и в проеме появилась жена с неизменной улыбкой на умеренно симпатичном лице.

— Привет! — весело воскликнула она, — что, не сорвался еще?

— Угу, — лениво пробормотал он, — как на службе?

— Ничего нового. Нам опять повысили зарплату.

Набором кнопок на панели над столом она заказала ужин им обоим.

Х подкатил свое кресло к столу, и они начали молча есть. Снова стал слышен голос диктора:

— ...неуклонное повышение стабильности. Несомненные достигнутые успехи в возможно более полном удовлетворении основных потребностей граждан. В настоящее время Институтом Общественного Прогресса ведется разработка и внедрение новых перспективных потребностей человека, которые будут последовательно удовлетворены в надлежащие сроки...

Вечер — приятная пауза в лечении — завершился. Они разошлись спать в разные комнаты: терапия рекомендовала воздерживаться от сексуального удовлетворения. Х это не особенно беспокоило, его даже несколько удивляло собственное равнодушие к этому вопросу... иное дело в юности...

Вот то, что спать на досках приходится, это, конечно... Правда, за неделю терапии он почти привык, только иногда бок затекает. Нужно еще завести механический будильник,

вместо музыкального аларм-блока... тоже терапия... а утром чистить зубы... щеткой... самому...

* * *

За прошедшие две недели выражение лица у врача ничуть не изменилось. Те же уныло обвислые щеки и мрачный пристальный взгляд.

— Судя по вашему здоровому виду, лечение было безуспешным, — приветствовал он Х. — Что ж, придется принимать более суровые меры.

— А стоит ли, доктор? Может, лучше просто печенку... того...

Врач тяжело опустился обратно в кресло и указал Х на стоящую рядом колченогую табуретку.

— Вы, батенька, судя по всему, просто не прониклись сутью дела. Думаете, вы один такой? И дело тут вовсе не в печени, я могу вам хоть вторую поставить, лучше от этого не станет. Дело в том, что вы находитесь в состоянии полного эмоционального дисбаланса.

— Извините, где? — переспросил Х, ощущая, как всегда от длинных слов, легкое гудение в голове.

— Проще говоря, в вашей полностью благоустроенной жизни существуют только положительные эмоции, да и те жиденькие. И никаких отрицательных! Скажите, вас когда-нибудь били ногами?

— Ч-что? — пробормотал Х, ошарашенный столь грубым вопросом.

— Были у вас увечья, обиды, душевные и бытовые травмы, болезни, ущемления чувства собственного достоинства, импотенция или хотя бы похмелье? Ах, что это такое? Значит, не было.

И, не обращая внимания на вопросы и возражения X, явно оседлав своего любимого конька, врач продолжал:

— Вас хотя бы родители в детстве наказывали?

— Почему вы решили... у меня были добрые, заботливые, они и мухи бы...

— Ага, значит воспитание ни к черту. Запас прочности от первых пятнадцати лет жизни, будем считать, нулевой.

— Я не понимаю, вы...

— Все просто как могила. Эмоциональный дисбаланс, отсутствие отрицательных эмоций, неудовлетворенностей, фрустрации и т.п. В общем, отсутствие всего, что будоражит организм, заставляет обновляться жизненные системы, быть, так сказать, биологически начеку. Все это ведет к распаду тела. Свитер, который не носят, незаметно изгрызает моль. Потом одень, и он расплзется по ниточкам. Так и с нами. Медицина улучшается, благосостояние растет, потребности удовлетворяются раньше, чем возникают. А продолжительность жизни падает! В сорок уже старик. Усекли?!!

— Но как же... почему!?

— Да потому, что отрицательные эмоции, оказывается, так же нужны для жизнедеятельности организма, как и положительные. Даже нужнее — при самой дерьмовой диктатуре человек мог жить и радоваться. Даже рабы, бурлаки и бездомные могли сохранять некое душевно-физическое равновесие, а вот в нашем обществе повального благоденствия все мрут, как мухи. Какой раньше был живучий народ! Бывало... Ну да ладно. Короче, как это ни парадоксально, но вам, для вашего же блага, необходимы проблемы, неурядицы, стрессы и просто мелкие неудобства и неприятности. А для этого, — тут он взглянул на X, у которого было такое же выражение,

как у кролика, которому прописали диету из свежих удавов, и перебил сам себя:

— Похоже, что я вас не убедил?

— Э-э... нет... я... мне просто трудно представить...

— Трудно? Ну, тогда представьте себе канатоходца, балансирующего на канате с пудовой гирей в правой руке. Эта гиря — удовольствия, которые вы поглощали с самого рождения и ничем не компенсировали. А человеческий организм не может переварить столько кайфа. Поэтому мы должны снабдить вас необходимым противовесом для успешного балансирования на тонкой жизненной стезе.

При этих словах Х вспомнил упругие ступени веревочной лестницы и, судорожно сглотнув, закивал в ответ. Обрадованный поддержкой столь восприимчивого пациента, врач продолжал:

— Я предлагаю вам курс лечения в нашем стационаре, предназначенном специально для таких запущенных случаев, как ваш. Там вам обеспечат полный дискомфорт, в сочетании с массой всяческих неудобств. Он сооружен с учетом богатого исторического опыта подобных заведений, а также с использованием самых современных достижений. Сами видите, домашние, косметические, так сказать, средства эффекта не дали. Поэтому я настаиваю...

Х медленно и покорно опустил голову.

* * *

Одиночество. Каждому знакомо это чувство. Ну, как же? одиночество в толпе, в семье, в собственной квартире... с телевизором и книжной полкой, в служебном кабинете... с телефоном и компьютером и т.д. Все это — блеф. Современный человек одиночества и не нюхал, разве что в утробе матери, но это

быстро забывается. Когда же он сталкивается с одиночеством в сознательном возрасте, то переваривает его с трудом.

Прошла всего неделя. Нельзя сказать, что болезненность первых дней не утихла. Мысли становились спокойнее, и неподобающие возрасту эмоции навещали реже. Тем не менее, продолжал беспокоить информационный голод. Оказывается, мозг, как и желудок, привыкает к определенному рациону: газетам, ТВ, разговорам, а тут... Что можно выжать из стен, железной табуретки, закрепленной сантиметров на десять дальше от стола, чем нужно, да странной формы кондиционера в углу. Впрочем, из него ничего выжимать не надо, и так весь день оттуда несет какой-то дрянь.

Он в который раз оглядел свое помещение: маленькое отверстие под потолком, в которое зачем-то установили лампу, светящую днем (окон здесь не было), большие люминесцентные светильники, горевшие ночью, узкую койку, днем автоматически убиравшуюся в стену, — вот, собственно, и вся обстановка. В одной стене была незаметная дверца в ванную и туалет, а в противоположной — огромная чугунная входная дверь, которая как раз в этот момент бесшумно откатилась в сторону. Из встроенных в стенку динамиков раздался душе-раздирающий стереоскрип, и в комнату вошел надзиратель в белом халате и белой полумаске, закрывавшей лицо. Он вкатил за собой знакомую тележку с обедом.

Х зарнее скривил рот и закатил глаза. Надзиратель поставил перед ним алюминиевую тарелку с зеленовато-желтой жижей. Над тарелкой курился тошнотворный пар, тоже, кажется, зеленоватый. Лечебная баланда. Надзиратель взял Х за руку, вложил в нее алюминиевую ложку, загнул пальцы, чтобы ложка не выпадала, и кивком пригласил его к трапезе. Х, давясь и вздрагивая от отвращения, проглотил одну, две...

шесть полных ложек. Надзиратель видимо решил, что этого достаточно, и отодвинул миску в сторону. После этого он резво переставил с тележки на стол непосредственно обед: солянку с грибами, антрекот, омлет с горошком и разнообразную десертную мелочь. По окончании обеда Х не спеша вытерся салфеткой и с тяжелым вздохом опять погрузил гнутую алюминиевую ложку в мерзкое зеленоватое варево — во рту не должно было оставаться приятного вкуса.

Дверь за надзирателем задвинулась и опять запоздало закрипели динамики. «Надо сказать, чтобы исправили, — лениво подумал Х, разваливаясь на койке, — а впрочем, не важно». Он уже начал дремать, как вдруг камера наполнилась взвизгами, писком и мелким приглушенным топотанием. Наступил Час Послеобеденных Крыс. Штук пять белоснежных зверьков сновали по полу, повизгивая и время от времени набрасываясь друг на друга. Х рассеянно наблюдал за шаловливой возней, разнообразящей послеобеденный отдых, и с удовольствием занимался перевариванием пищи. Мысли его текли размеренно и неторопливо.

Крысы помогали коротать вторую половину дня. Когда наступал вечер, т.е. гасили лампу в «потолочном окошечке» и включали люминесцентное освещение, снова приходил надзиратель, и они с Х отправлялись на прогулку. Х, одетый в смирительную рубашку, шел впереди по уже знакомому маршруту. Рукава у рубашки все время развязывались, и Х приходилось останавливаться, чтобы надзиратель мог завязать их на спине. Они выходили во дворик с березовой рощицей и миниатюрным прудиком, в центре которого изящно бил фонтан. Надзиратель вынимал сигарету, зажигал ее и вставлял в рот Х. Длительность прогулки составляла три сигареты. Под ногами шуршал гравий, ветер теребил свежую листву. Из ди-

намиков, запрятанных где-то в кронах деревьев, хриплый бас периодически считал до двух. Х выплевывал в урну третий окурок, и они возвращались в здание.

Перед заходом в камеру Х проходил через процедуру Ежедневного Опроса. Надзиратель вводил его в пустую комнату, ставил лицом к яркой лампе, висевшей на стене, и уходил, затворив дверь. Х тут же отворачивался от слепящего света и начинал выслушивать бесконечные вопросы (всегда одни и те же), которые задавал голос, исходивший неизвестно откуда.

Ваше имя? Год рождения? Место рождения? Место, где хотели бы родиться? Место работы? Ваше хобби? Просклоняйте ваше имя по падежам. Сколько пальцев у вас на правой руке? Сколько на левой? Какой формы наша планета?

Между вопросами следовали паузы для ответов. В первые дни Х добросовестно отвечал: все-таки лечение требует. Потом стал для разнообразия нести всяческую ахинею, а к концу недели просто молчал.

Наконец его отводили обратно, в камеру, где сперва он принимал ванну, а затем ему подавали ужин, после которого он, опять-таки в лечебных целях, проглатывал несколько сухариков и запивал их дистиллированной водой. Довольный собой, Х засыпал. Так он провел в специзоляторе две недели и гордо считал, что выдержал бы и дольше.

* * *

И вот Х снова сидел на знакомой колченогой табуретке в приемной. Он уже научился разбираться в своем состоянии, и поэтому его практически не удивило сказанное доктором:

— Как я и ожидал, в изоляторе вы только отъедались и тратили казенное время. Заранее знаю, что он ничуть вам не помог. Впрочем, — и в его голосе зазвучало пренебреже-

ние, — он вообще мало кому помогает. Я и послал-то вас туда только для того, чтобы вы сами в этом убедились.

При этих словах Х хотел опять заикнуться про операцию, но не успел: врач заговорил снова.

— Пришло время подходить серьезно, — врач неожиданно вытащил из стола большое яблоко с красным боком и принялся методично вытирать его о халат. — Всевозможные полумеры вроде полостных операций, пересадок сердца, почек, печени и т. п., разумеется, смысла не имеют: в лучшем случае они только затянут агонию, — врач распахнул пасть, вонзил зубы в яблоко и с хрустом откусил.

«Врач, а ест сырое яблоко, странно», — подумал Х. Вслух же он произнес:

— Наверное, вся жизнь человека, это в каком-то смысле агония...

— Хэ, философ, — перебил его врач, — лечиться надо. Радикально. Ясно? Иначе, — и врач красноречиво откусил еще.

— Короче, — Х начала раздражать его пренебрежительная самоуверенность, — чем вы порадуете меня на этот раз?

— То место, где вы до сих пор находились — это не лечение, а профсоюзный курорт для паралитиков. Я пошлю вас в гораздо более эффективное место.

Х возмущенно открыл рот, но возразить не успел.

— Поймите, — продолжал врач, — это ваш последний шанс на молодость. Иначе, вы одряхлеете за ближайшие два года, и вас уже ничто не спасет. Даже я! Тогда волей-неволей придется отправиться в общегеронтальный приют. Слыхали? Вот то-то!..

— Ну что же, — вздохнул Х, — если все это действительно так необходимо, то где-нибудь в начале будущего года, после квартального отчета...

— Какого отчета?! Немедленно. Сейчас. Не заходя домой! — и нажав клавишу селектора, врач рывкнул в него:

— Дежурных опер-санитаров немедленно ко мне, — затем взял огрызок яблока, опустил его в рот, а оставшийся хвостик щелчком послал над головой Х.

— Но как же... — начал Х.

— Все необходимое вам выдадут, и даже кое-что сверх этого.

— Но мне...

— Сообщим. И на работу. И семье. И всем, кому следует. А оттуда будете писать. Если захотите, конечно. Все.

В этот момент в кабинет вошли двое в белых халатах и деликатно, но в то же время легко, словно тряпичную куклу, увлекли Х за собой в Отправочный Покой.

* * *

За длинными столами сидело по двадцать лечеников. Столы были деревянные, неполированные, с занозистыми заусенцами. Кое-где из них росли маленькие стальные грибки: шляпки недовбитых гвоздей. Если миску двигать по столу, а не аккуратно нести и ставить, она обязательно зацепится и перевернется. Ложки непривычно (а, впрочем, уже привычно) зажаты в кулаках.

Х методично хлебал баланду из своей миски. Сидевший напротив Х хмурик даже не взял ложку. Лицо его, тупо глядящее на нетронутую бурую гладь баланды, выражало постное тоскливое недовольство. Свежеиспеченный леченик. Х даже улыбнулся, выскребая остатки баланды. Вначале он тоже не знал, что кроме этого клейкого варева здесь ничего не получишь. Да и за это еще скажи спасибо лечителям. Как раз в это время один из них стукнул микрофоном об стол, и грохот

в динамиках разом поднял всех на ноги. Рядами, так же, как сидели, они пошли на выход. Краем глаза Х успел отметить, что новичок оказался достаточно глупым, чтобы сунуться к лечителям с претензиями. Однако те, видимо, были сегодня в хорошем настроении и просто молча запихнули его в строй. Спектакль ненадолго откладывался.

После завтрака, как всегда, была зарядка, и они, теми же двумя шеренгами, побежали тяжелой сытой рысью вокруг барачков. Сегодня им повезло, лечители куда-то смотались, и их даже никто не подгонял. Но это длилось недолго, и появившийся откуда-то грома в нежно-розовой форме быстро заставил их заняться тяжелой атлетикой, пока наконец двое толстяков не уползли блевать в кусты. Затем перешли к водным процедурам в окрестных канавах и, после очередного рева динамиков, совершенно выдохшийся Х даже с некоторым облегчением принял исходную для отправки на работу позицию на четвереньках. Команда — и обе колонны дружно сунули в рот шерстистые рукавицы и, неуклюже переваливаясь, зашагали к большим лагерным воротам.

Внезапно в колонне, в которой шагал Х, произошло непонятное замешательство, и она остановилась. Х уселся на землю, вынул рукавицы изо рта и, отплеываясь, огляделся вокруг. Опять кого-то застопорило. К колонне подбежали два лечителя и принялись восстанавливать движение, подстегивая лечеников электрическими дубинками. Х предусмотрительно опустился на четвереньки и изобразил готовность двигаться.

Но колонна продолжала стоять. Новичок, которого Х приметил за завтраком, выпрямился и, подойдя к лечителю в розовой панаме поверх розового мордоворота, активно возмущался, брызгал слюной, размахивал неуклюжими

костлявыми конечностями, указывал на свой ужаленный зад, на ушибленные колени... Лечитель миролюбиво кивал, не только головой, а как-то всем телом, покачивал мощными плечами, потирал мясистые розовые ладошки. Лицо его зримо добрело, окрашивалось поощрительной улыбочкой. Тем временем остальные лечители постепенно стягивались со всех концов колонны, образуя заслонявший возмутителя спокойствия веселенький розовый заборчик. Многие из них на ходу пристегивали к сапогам большие поролоновые носы. Наконец новичок окончательно скрылся за большими розовыми спинами, которые на минуту застыли, а потом все разом начали методично двигаться. Со стороны это чем-то напоминало групповую разминку футболистов. Х со стыдом почувствовал пакостное удовольствие — приятно, все-таки, что не он один оказался таким идиотом. Ничего страшного они с ним не сделают, а одного такого сеанса обычно хватает.

Х огляделся вокруг. Остальные тоже сидели на земле и удовлетворенно наблюдали, время от времени поплеывая. Наконец экзекуция закончилась, и двое лечителей, подняв леченика, отнесли и аккуратно, даже бережно положили его на старое место в строю. После этого один легко ткнул его в зад дубинкой, и тот вскочил на четвереньки, ошарашенно тряс головой. Колонна вновь торопливо построилась и двинулась дальше.

Итак, позади часовой переход. Колени и локти побаливают, но не слишком: их предохраняют фундаментальные мозоли. Соленый бриз промывает легкие, теребит волосы, освежает... Леченики уселись метрах в тридцати от обрыва, в ожидании грузовика с «работой». Снизу доносится непрестанный шум волн, сонное ворчание моря.

Подъехали самосвалы и остановились на положенном сотметровом расстоянии от обрыва. С грохотом и скрежетом из поднимающегося кузова вываливались камни, куски бревен, гроздь кирпичей, слепленных цементом, ржавые трубы — в общем, орудия труда.

Леченики встали, разбились на бригады и приступили к трудотерапии. Естественно, все выбирали предметы полегче и, дотащив их до обрыва, смотрели на долгое падение, поднимающее всплеск соленых брызг метрах в тридцати внизу. Притащив очередной булыжник, Х так же рассеянно уронил его вниз, и вдруг камень под ногой повернулся, ноги неудержимо заскользили в пустоту и Х, взмахнув руками, вцепился в первое, что ему подвернулось — мешковатый серый комбинезон стоящего рядом леченика — и потянул его за собой.

Х повезло — леченик не только не стал отпихивать его ногами, но даже оказался настолько сообразительным и жилистым, что успел распластаться на земле и быстро вытянуть их обоих из опасной близости к обрыву.

Х забормотал невнятную благодарность, но заметил приближающегося лечителя и умолк. Разговаривать на работе не разрешалось, и не стоило навлекать на своего спасителя начальственный гнев.

Вечером в бараке, перед единовременным отходом ко сну, Х успел отыскать его на нижних нарах в углу. Х сбросил пинком с нар хвостастую серую крысу (они селились где-то в подполье и к вечеру выползали на промысел) и уселся рядом со своим спасителем, которого звали У. Из беседы выяснилось, что он попал сюда по сходным с Х причинам и даже примерно в то же время, поэтому до окончания срока лечения им обоим оставалось примерно два месяца. В это время мимо

них понуро проплелся давешний новичок. Х и У переглянулись, и оба понимающе усмехнулись.

— Ничего, притрется, — сказал У, грызя заначенный с ужина сухарь.

— Конечно, на здоровье это сказывается благотворно, — с сомнением проговорил Х, почесывая грязную лодыжку и следя за шмыгающими вокруг крысами, — но с воспитательной закалкой они, по-моему, перебирают.

— Так и надо, — проворчал У, отправляя в рот крошки с ладони, — это единственное место, где из тебя могут сделать настоящего человека. Теперь я понимаю, что там мы все были сопливыми бабами. Не то, что эти орлы. Вернешься домой — оценишь. Еще благодарность им пошлешь.

Динамики зашипели и рывкнули хрипкое «Всем спать!». Х встрепенулся и бегом вернулся на свои нары.

* * *

Если вам скажут, что на межзвездных грузовиках с нейтронной тягой нет вибрации, посоветуйте ему обратиться к врачу и пожаловаться на печень. Может, конечно, в капитанской каюте ее и нет, но вот в трюме...

Тело дрожит в такт стенам и полу одновременно в нескольких ритмах. Это суммарное колебание вызывает непередаваемо тошнотворное состояние, перед которым меркнут острые отравления, похмелье, язва желудка и т.п. Воздух мокрый, тяжелый, перегретый от близости реакторов. Кислород почти дочиста выдыхан десятками голодных легких. Все время кто-то блюет. На предусмотрительно выданные перед отлетом тюбики с баландой даже смотреть противно. Х, как и остальные 14 его товарищей, болтался, пристегнутый ремнем к стене трюма, боролся с тошнотой

и в промежутках пытался обсуждать с остальными место их назначения и какого, вообще, черта их куда-то отправили, вместо того, чтобы дать вернуться бодрыми и здоровыми по домам.

— Какое, к хемулям, долечивание, — возмущался долговяз напротив, рассекая горячий воздух длинной желтой слюной. — Я и так уже здоров, как бульдозер, и никаких рецидивов у меня не будет.

— Никакое это не долечивание, — проворчал толстяк в углу, — просто мы будем отрабатывать плату за наше лечение. Должен же кто-то осваивать новые планеты, а этих городских дохляков туда не пошлешь.

Эта, первая по-настоящему разумная мысль после вялых ругательств и недовольного бурчания, заставила всех ненадолго замолчать.

— А ведь он прав, — внезапно заговорил болтавшийся слева У, — нас теперь просто боятся пустить обратно, мы же там такой шухер наведем...

— Эге, и нас пихают на колонизацию дебрей, так, что ли?

— А как там в смысле баб? Они-то там тоже нормальные? Не то, что те, дождевые черви, холодные и скользкие. Я, вон, помню... — он не договорил: пилот, разумеется, без предупреждения, врубил добавочную порцию тяги.

Ускорение вдавило ремни в многострадальные животы «грузовых пассажиров». Желудки конвульсировали, кишки перемешивались, тошноты прибавлялось, хотя казалось, это уже невозможно. Дышать становилось трудно, вдохи были похожи на предсмертные хрипы, выдохи — на посмертные. А впереди было еще два часа полета!

* * *

— И где вы только откопали эти железяки? — Х заглянул в дуло своего автоматического карабина и дунул туда. Карабин издал глухой свист. — Я думал, такие только в Музее Бой Славой остались.

— Главное, не суй его себе в нос, птенчик, — Старший Очиститель был нынче в духе. Он вообще любил новых людей. — А вот предохранитель лучше не трогай без надобности.

— А на черта они вообще нужны, — решил сразу выяснить Х, — роботов, что ли, подгонять?

Старший неопределенно хмыкнул и, пропустив нахальную шутку мимо ушей, спянул и мрачно произнес:

— Не подгонять, а отгонять. Мартышек этих проклятых. Чучела вам, небось, показывали?

— Конечно, такие пушистые, оранжевые...

— Думаешь, эти рыжие бестии такие безобидные? Агрессивные, плотоядные, роботов ломают, с пустыми руками с ними лучше не встречаться. Нас для того здесь и держат, чтобы этих тварей от техники отпугивать. Ну, и от себя заодно.

— Может, они потому и лезут, что мы джунгли вместе с ними уничтожаем?

— Ни черта ты не понимаешь. Сразу видно — новичок. Уничтожаем мы их для ихнего же блага. Может, поумнеют и соваться к нам не будут. А джунглей им еще полпланеты остается, хватит с них.

Они продолжали обход площадки, на которой несколько роботов валили лес и вели расчистку. Х с удовольствием покачивал в руках карабин, и его тяжесть придавала ему ощущение собственной значимости. Идущая за ними команда уже начала натягивать колючую проволоку на уста-

новленные по краям площадки столбы. Маленькое подслеповатое местное светило слезло со своей заоблачной трибуны и явно собиралось вскорости закатиться, но они успевали оградить положенные пять гектаров до конца рабочего дня.

* * *

Если уж понадобилось прорубать в джунглях дорогу, то зачем было делать столько поворотов? Сидящие на лавках в кузове усталые люди то валятся друг на друга, то соскальзывают на пол и роняют оружие. Пустые желудки, урча, протестуют. Единственное утешение — скорый отдых в лагере, добротный ужин (не какая-нибудь баланда), картишки, койки с матрацами.

Виражи, виражи... В просвете подпрыгивает желтая дорога с глубокими колеями, астматически курится пыль. Никто не скулит, не стонет, у всех окостеневшие от усталости лица с поджатыми спекшимися губами. Они и впрямь не те сюсюкающие бесхребетные поросята, что были раньше. Полноценные парни, хлебнувшие настоящей жизни.

Х занимал наиболее выгодное место в глубине кузова у самой кабины. На одном из поворотов Х чуть не влетел в объятия сидевшего напротив У, и тот, возвращая его на место, проворчал:

— Хорошо, что на этой долбанной дороге нет хотя бы подъемов и спусков.

Х согласно кивнул и хотел было что-то ответить, но внезапно перед транспортера ухнул куда-то вниз, и они с У в одно мгновение оказались погребены под грудой тел остальной команды. Одновременно снаружи донесся пронзительный вопль, и в открытый проем кузова влетело несколько камней.

Кто-то матерно вскрикнул. В проеме замелькали оранжевые тела.

— Все наружу! — заорал Старший, сидевший у самого заднего борта. — Быстро! — он прыгнул за борт и тут же выпустил длинную очередь. Щелкая предохранителями, все стали выпрыгивать за ним. Снаружи неслась оглушительная сумятица криков, выстрелов, ругательств. В кузове оставались только Х и У, сидевшие у самой кабины. Х сделал несколько неуклюжих шагов по наклонившемуся полу и ухватился за борт, выглядывая наружу.

— Идем. Чего тебя застопорило?! — У хлопнул Х по плечу и, не дожидаясь его, сиганул через борт.

Еще не решаясь прыгнуть, Х увидел, как спина У резко дернулась назад и он медленно повернулся. Лицо его на мгновение как бы застыло в нерешительности, а затем постепенно приняло выражение удивления: бесконечного, сумасшедшего... смертельного удивления. Чуть повыше бедра у него в боку торчало древко копья, покрытое странным узором.

Х застыл на месте, и все остальное проходило перед ним, как в замедленной съемке: агония У перед грузовиком, дикари, бегущие к машине и размахивающие копьями, выстрелы откуда-то снизу, падающие оранжевые тела... Наконец руки его ослабели и он сполз по кузову вниз, к кабине, но и тогда перед глазами продолжало медленно плыть лицо У.

Х не знал, сколько прошло времени: из оцепенения его вывело ощущение жара, стекающего на голову. Он поднял взгляд: верх транспорта горел, брезент чернел, рвался, пламя прожорливым осьминогом вытягивало красноватые щупальца. Рядом с Х ударило короткое копьё с горящим острием. Брезент вспыхнул. У Х заболели глаза от жара и он, кашляя и мигая, вывалился из кузова.

Стрельба еще продолжалась, но довольно вяло. Предусмотрительно укрывшийся за колесом грузовика Старший выцеливал противника, стрелял редко. Х тоже выстрелил несколько раз, но похоже, стычка уже закончилась, остатки нападавших отступили. На дороге и обочине лежало множество оранжевых тел с покрытым красным и бурыми пятнами мехом. Несколько знакомых фигур в униформе тоже уткнулись в пыль в нелепых позах. Грузовик горел. Х хотелось блевать. Ноги подкашивались.

— От машины! Всем! — Заорал Старший выбравшись из под грузовика, — Ща рванет!

Все отбежали от машины и сгрудились вокруг него. Старший выплюнул ком слюны и набившейся в рот пыли.

— Пока они не вернулись, надо мотать отсюда. Идем друг за другом. Я замыкающий. Z — впереди. Быстро!

Они действительно быстро построились и зашагали по дороге. Когда они отошли уже довольно далеко, сзади раздался глухой взрыв. Все вздрогнули, и ускорили шаг.

* * *

Пламя маленькими медленными язычками ползало по кучке сырых веток, и густой белый дым, выходящий из костра, сливался с окружающим их молочным озером тумана. После второго налета их осталось всего восемь, к тому же половина раненых. Всю ночь они пробирались напрямик через джунгли, по болотам и теперь, выйдя на рассвете на опушку, устроили небольшой привал в ложбине, наполненной сыростью и туманом.

Несмотря на усталость, заснуть никто не мог. Все просто сидели или лежали мокрыми серыми мешками вокруг вялого костра. Старший, морщась, перебинтовывал плечо

обрывком рубашки. Кто-то еще, по его примеру, заматывал кровоточащую ногу, время от времени матерясь и тихо вскрикивая.

— Кто бы знал, — проворчал Старший, затягивая зубами узел, — что эти твари смогут пользоваться брошенным нами оружием. Хорошо, хоть патронов у них почти не осталось.

— У нас тоже, — пробормотал кто-то из остальных.

— Ничего, до лагеря миль пять, не больше. Вот солнце вылезет, сориентируемся и рванем напрямиком.

Х сидел у самого костра и молчал, лишь изредка закрывая глаза, когда ветер бросал ему в лицо клочья белого дыма. С момента нападения на их машину он находился в некоем оцепенении и воспринимал окружающее довольно смутно. Гораздо яснее стояло перед глазами искаженное лицо У. При каждом вздохе Х правую сторону груди, куда угодил камень, пронизывала резкая боль и ему казалось, что он ощущает металлический наконечник копья, раздирающий его тело. Ведь выпрыгни он первым... Резь в груди увеличивалась, но он не обращал на это внимания — вылечат, главное — выжить, выжить и убираться к чертям отсюда, ничто не заставит его теперь здесь остаться.

Старший тяжело поднялся, придерживая одной рукой карабин, и осмотрелся.

— Светает, скоро тронемся. А пока надо разведать окрестности и выбрать дорогу. — Он огляделся вокруг и взгляд его упал на Х. Плотно стиснутые зубы, упрямо-озлобленное выражение лица. Старший снял с себя маленький призматический бинокль и протянул его Х:

— Держи, парень. Здесь за опушкой должен быть холм, взлезешь на него, посмотришь, как лучше пробираться. Лагерь

вон там, — и он махнул здоровой рукой с карабином. — И шевелись побыстрее, мартышки ждать не будут.

Х взял бинокль, карабин и постарался идти так быстро, как ему позволяла боль в груди. Когда он взобрался на вершину холма, солнце уже почти вылезло, а туман оставался только в лощинах. Х огляделся. Там, куда указывал Старший, и без всякого бинокля можно было различить знакомые очертания двух холмов, меж которыми находился их лагерь. Он действительно был недалеко, не больше часа ходьбы, и к нему вела длинная пологая лощина, еще полускрытая туманом. Х хотел было уже возвращаться, но напоследок решил посмотреть вокруг. Когда он повернулся назад и стал всматриваться в джунгли, то вздрогнул и схватился за бинокль. Так и есть — большую поляну километрах в полутора пересекала целая толпа оранжевых тварей, размахивающих копьями и направляющихся в сторону их теперешней стоянки. Сдвинув бинокль вправо, он увидел второй отряд, спешащий туда же. В панике он повернулся налево, в сторону лагеря. С севера двигался третий, отрезая им путь домой. Х выругался, хрипло и беспомощно, и грудная клетка отозвалась безнадежной режущей болью.

Х понял, что остается единственный маленький шанс — проскочить по этой лощине, пока третий отряд не успел еще ее перекрыть. Оцепенение и апатия предыдущих часов разом исчезли, и он кинулся бежать вниз с холма, надеясь, что не привлечет к себе внимания. Успеть, успеть, только бы успеть — колотилось внутри в такт шагам. Бинокль мешал ему, и он отбросил его в сторону. Теперь он бежал по лощине, где-то справа вставало солнце, и туман вокруг медленно рассеивался. Бежать становилось все труднее, боль в груди разрослась и теперь не прекращалась ни на секунду, занимая

все пространство внутри туловища и медленно поднимаясь вверх, к голове.

Сзади раздались редкие глухие хлопки выстрелов. Карабин бил его по спине, он на ходу отшвырнул его и отчаянным усилием заставил себя ускорить бег. Он уже не ощущал тупые удары подошв о землю, дыхание вырывалось с хрипом, боль стала непереносимой, но он заглушал ее мыслью «быстрее, быстрее, успеть, успеть...» Внезапно лопина повернула направо, и в глаза ударил ослепительно яркий свет. Он споткнулся, упал и покатился по земле, перед глазами замелькали ярко-желтые пятна и в следующий миг что-то лопнуло в груди, земля провалилась и он стал падать в бездонный черный колодезь, в котором не было ни звуков, ни движения, ни света.

A hand-drawn rectangular frame with a slightly irregular, sketchy appearance. It consists of a vertical line on the left, a horizontal line at the top, and a horizontal line at the bottom. The lines are dark and have a slightly wavy texture.

Смотровая
площадка



Работа располагала к размышлению. С таким же успехом она могла бы располагать и к чтению, но глаза стали первой добычей старости, которая постепенно проникала в его жилистое и еще крепкое шестидесятилетнее тело. После дюжины кое-как прочитанных страниц глазные яблоки болезненно набухали, тяжелели, и от них куда-то в центр головы начинали прорастать тугие тяжи боли.

Он запихивал книгу в ящик стола и, откинувшись, насколько это позволяло несуразное казенное кресло, принимался размышлять, наблюдая одновременно за набережной. Может быть, оттого, что работа была сезонной, а сезон — медлительная северная зима, мысли приходили, как он сам выражался, «все больше философические».

Тем временем по обледенелой и насквозь продуваемой набережной, почему-то всегда против ветра, брели редкие прохожие. Он обычно замечал их издали, и понурая, мучительная походка, исполненная боязливой и в то же время бесповоротной решимости каждый раз убеждала, что прохожий направляется к его будке. Но почти всегда, отвратительно пуская пар изо рта и ноздрей, прохожие пробредали мимо и исчезали за углом одного из грузных темно-желтых зданий

с отвалившейся в некоторых местах штукатуркой. Иногда с какой-то гадливой брезгливостью и в то же время жадно он разглядывал обнажившиеся пятна красного кирпича, вызывающие неуместные воспоминания: изображения кожных болезней, ранений и еще чего-то из медицинского атласа.

Часто он усаживался спиной к набережной, пододвинув кресло к боковому окошку, и созерцал реку, покрытую неровным и, очевидно, очень толстым льдом. Незамерзшей оставалась только полынья у самой его будки. К ней вела игриво окрашенная лесенка, которая заканчивалась маленьким помостом, почти совпадавшим с уровнем воды. В полынье, то покрываясь тонкой знобящей рябью, то разглаживаясь, медленно проплывали бесконечные водяные толщи. В позе «с видом на реку» чаще всего уютно размышлялось о бесконечном и неистребимом круговороте жизни, из которого в один прекрасный день пытаешься высвободиться, а на самом деле только поднимаешь голову над водой. И когда снова погружаешься, то не исчезаешь, не лишаешься движения, а продолжаешь бесконечное участие в круговороте. А прохожие почти всегда проходили мимо. Почти... но не всегда.

Неприятный звук. Сухой и одновременно дребезжащий: старик очнулся от созерцания неизвестного насекомого, которое непостижимым образом дотянуло до января, и теперь медленно огибало его ботинок. Пресекая такой же медленный, но обстоятельный ход «обобщенных размышлений», навеянных эпизодом. В маленькое окошечко будочки стучали согнутым пальцем. Старик приподнял стеклянную створку, в щель просунулась рука в перчатке и положила требуемую сотенную. Старик в ответ сунул в щель картонную карточку с тиснением «Смотровая площадка у реки: одно посещение», которую следовало бросить в автоматический турникет.

Часы тикали. Старик всегда замечал это, когда собирался начать или продолжить размышления, а первая «мысленка» еще не пришла. Часы тикали. «Мысленка» не приходила. Он как бы нехотя поднялся с кресла, которое уже больше часа насыщал собственным телом, и подошел к окошку.

Парень сидел на ступеньке и щелкал зажигалкой. Убедившись, что она издохла, он лениво швырнул ее в воду, потом обернулся и поймал взглядом в окошке старика. Тот, чувствуя некоторую неловкость, влез в пальто и, выбравшись из будки, протянул парню спички. Парень закурил.

— Что вас привело сюда? — не удержался старик от неудачного вопроса. По инструкции ему вообще запрещалось задавать вопросы, т.к. это «способствует отпугиванию клиентов».

— Зима. Слишком длинная. Наверно, я устал.

— В наших краях все зимы одинаковые, — ответил старик, разглядывая парня. Усталость с ним явно не вязалась, разве что прищур, и еще на виске, словно паутина...

— Все равно время... То есть, его нет. Я не чувствую как оно движется. Может, я даже не верю, что оно существует... уже давно... интересно, как вы добиваетесь, чтобы здесь не замерзало, — парень кивнул в сторону полыни, — колете ломом?

— Нет, проще: под помостом стоят нагреватели.

— А-а, прогресс, — сказал парень и затаился, как-то странно держа сигарету. Старик пригляделся: большого и указательного пальца на правой руке не было.

— На войне, — бросил парень, проследив за взглядом старика.

— На войне? Мне кажется, вы слишком молоды для войны. Даже я тогда еще был в колыбели.

— Нет, это война в Южных Провинциях. Наверняка вы слышали по радио... Или вы не слушаете радио?

— Да, конечно, я слышал. Там еще все время наши самолеты сбивают.

— Верно. Я с них прыгал. На деревни. Сначала тебе вкалывают полшприца и выпихивают в люк. Знаете, как сверху красиво. Сопки, на склонах домики приколоты, как значки за «десять боевых прыжков». А между ними взрывы, крохотные, игрушечные, если сверху...

— Вы так рассказываете, будто сначала вам это нравилось, а потом...

— Нет. Не знаю, я любил быстрое время. И оно было быстрым, очень быстрым... Вы знаете, что такое напалм? Неважно... а потом оно стало бесконечно быстрым, и я перестал чувствовать, как оно движется. Проносится мимо, а ты не сдвинулся ни на шаг. Ты падаешь, свистит в ушах, нутро переворачивается, внизу деревни, фосфор, ты падаешь, а они не приближаются, а ты падаешь...

— Вы, наверно, больны. Это какая-нибудь редкая фобия.

— Нет, просто я пропустил свою остановку, — он помедлил, — на чужом маршруте. Остается стоп-кран, а иначе... — он не договорил и, поднявшись, стал расстегивать плащ, полы которого сразу заполоскались на хлестком, промозглом ветру.

— Послушайте, — заговорил старик, — если вы собираетесь обойтись с плащом, как с вашей зажигалкой, то лучше оставьте его мне.

Парень не ответил, словно не расслышав, потом снял часы, сунул в карман, передернув плечами, сбросил плащ и, взяв его за ворот, передал старику.

Старик поднялся в будку. Там он нарочито долго складывал плащ, сосредоточенно разглаживая морщины, тщательно совмещая рукава и борта, полностью погрузившись в механический ритм. Но плащ был сложен и методично упакован в большой ко-

ричевый портфель с дряхлой, расплзающейся ручкой. Потом так же медленно старик растворил дверь будки и вышел.

Лесенка и помост были пусты. Ему показалось, что рябь на воде стала чуть сильнее и как-то беспорядочнее. Шел редкий, но крупный медленный снег. Хлопья касались жадного, черного хаоса воды и исчезали, мгновенно растворяясь, а сверху падали новые, новые, новые. Внезапно ему представилось, что в темной, таинственной глубине подо льдом снег продолжает идти, но уже по-другому, словно в другом измерении. И странно, неожиданно испугавшись, старик повернул голову: по набережной, сутулясь под ветром, удалялся человек. Без шапки, без пальто, в огромном бесформенном свитере. Старик вгляделся: похоже, похоже... Ведь бывало же и не раз: приходит, покупает билет, кладет в карман, смотрит странно и уходит. Потом, наверно, показывает всем, или наоборот...

Падал медленный снег. Человек удалялся, и по мере этого становился все более похож. Похож, но и только.

* * *

— Вы, разумеется, понимаете, что наше терпение не безгранично, — инспектор шумно вдохнул, подтягивая верхнюю губу к ноздрям, заросшим мелкими черными волосами.

— Меня это не касается, обратитесь к владельцу, — постепенно раздражаясь, проговорил старик: инспектор стоял в дверях будки, которая все больше наполнялась снаружи холодным воздухом.

— Я не собачонка, чтобы бегать за вашим хозяином. Вы несете не меньшую ответственность, — инспектор, наконец, вошел, затворив за собой дверь, и, подойдя вплотную, водрузил колено на подлокотник кресла.

— Не понимаю, куда вы клоните. Мое дело маленькое: сидеть здесь, мерзнуть и продавать билеты, — старик поежился, словно иллюстрируя, что он и впрямь мерзнет.

— А мое, — инспектор подал туловище вперед, — весной внизу по течению ловлей заниматься. Вы соучастник. Ясно?

— Я никогда в своей жизни не прибегал к насилию. Вам не в чем меня обвинить: у каждого есть свобода воли.

— Ах, не в чем?

В таком духе беседа обычно продолжалась еще некоторое время, пока старик, очевидно считая ритуал выполненным, не вытаскивал из ящичка стола заранее приготовленный конверт со стандартной суммой и не вкладывал его в карман демонстративно неподвижного инспектора. Правда, приблизительно раз в год инспектор «капризничал», намекая на инфляцию, и сумма, с согласия хозяина, несколько увеличивалась.

На этот раз все прошло гладко. Инспектор что-то сосчитал насчет возраста и, порекомендовав «о душе подумать», мягко (значит, все в порядке) затворил за собой дверь.

* * *

«Очень странная девушка», — подумал старик. Он всегда так думал, хотя девушки бывали самыми обыкновенными.

Девушка, наклонив голову, заглядывала в самое окошечко и даже что-то спрашивала, спрашивала... Но выражение лица у нее все-таки было странным. Даже не само выражение, а то, как оно сменялось другим. Лицо не двигалось живо и непрерывно, а как бы прыгало из одного выражения в другое, словно сменялись кадры, или маски, или люди: вот одна что-то говорит, другая достает деньги, третья смотрит на билетик. У старика даже возникла мысль, что это, возможно, со всеми так происходит, только не всегда видно снаружи. Сколько ситуаций, чувств, столько в тебе

и разных людей, а твоё тело, лицо, сознание — своего рода гостиница для этих бесконечных постояльцев. Внезапно цепочка оборвалась, и старик обнаружил, что глаза его уже давно наблюдают сквозь мутноватые стекла за рекой.

Девушка стояла на краю желто-красного помоста и смотрела на воду. Время от времени она резко и как бы капризно передергивала плечами. Наконец, она сделала резкое движение вперед, стала терять равновесие, а потом, словно отшатнувшись, подалась, дернулась назад к лесенке. Но слишком резко. Ноги заскользили по обледенелому краю помоста, и она, растерявшись от неожиданности, оказалась в воде. Беспорядочно бередя воду и, видимо обезумев от шока, девушка пыталась выбраться на лёд на противоположной стороне маленькой полыньи. Довольно тонкий от близости нагревателей лёд обламывался под её тяжестью, и она с головой уходила под воду, потом хрипела, отплеываясь, и снова...

Старик некоторое время стоял в нерешительности. Потом, словно очнувшись, сбежал вниз, кричал... Хватал протянутую, наконец, руку с мокрыми, судорожно сжатыми пальцами, тащил...

Прошло около часа. Девушка сидела в его кресле, заваленная до самого подбородка грудой разнообразного тряпья, в которое вдобавок был завернут старый, но ещё слегка работавший нагреватель.

Девушка говорила, говорила...

—...Я и не собиралась на самом деле, то есть нет... Я уже давно решила, ещё вчера. Но в последний момент я подумала, ну, я представила, как они... Знаете, говорят, жильцы на том берегу в бинокли смотрят, когда здесь..., а один, говорят, там даже квартиру специально снял, вроде зимней дачи. То есть, мне было наплевать, конечно, но когда я представила, как он сидит там у окна... в носках..., жуёт, жуёт и смотрит... — девушка поднесла к губам сигарету и жадно, глубоко затянулась.

— А хорошо тут у вас. Уютно устроились, — снова заговорила она с какой-то новой напряженной интонацией.

Старик промолчал.

— Тепло, спокойно, слишком часто не тревожат, почти никаких усилий, физических по крайней мере.

— Если бы здесь был не я, был бы кто-то другой с тем же результатом. Даже если бы здесь никого и ничего не было, опять-таки результат был бы тот же.

— Вы думаете? Для них, наверное, но не для вас. Не для вас.

— Вы не правы,— голос старика был спокойным, почти монотонным, словно этот разговор он вел в сотый, в тысячный раз, — по молодости вы скоропалительны и слишком окончательны в суждениях. Вы же не станете обвинять, скажем, воду или лестницу. Я не соприкасаюсь с... — он запнулся, не находя удобного слова; в голове вертелось «клиенты, посетители, покупатели...» — Я не соприкасаюсь с НИМИ, — нашелся он, наконец, — мне даже это запрещено, я просто обстоятельство, просто элемент их мира, совершенно случайный и безвредный. Я знаю, что вам трудно меня понять, но глупо обвинять мир, когда...

— Нет, я вас понимаю,— неожиданно резко перебила девушка, — хорошо понимаю, даже слишком. Потому что я сама такая же. Мы все такие. Сидим каждый в своей будке и продаем билеты. Вот эти, — она дернула ящик стола, в котором действительно оказалась пачка картонных карточек. У старика внутри что-то вздрогнуло, колыхнув диафрагму, ему показалось, что сейчас она ринется в эту как бы спонтанно закипающую истерику, разрывая, топча билеты, вытряхивая ящички..., взорвет в этом маленьком пространстве всю чудовищную накопившуюся энергию.

Девушка медленно задвинула ящик обратно. Старик шумно выдохнул, сделал паузу, вдохнул и продолжал диалог:

— Видите ли, каждый человек должен иметь право на свой собственный мир, и нам было бы очень трудно оставаться людьми, если это право отнять.

— Это право нельзя отнять. Невозможно. Его можно только отдать, если еще не поздно. Если еще не оказалось, что нет другого мира, кроме твоего, а в нем нет никого, кроме тебя... и бесчисленных обстоятельств... Только некому отдать, — Она поднялась и стала натягивать на еще мокрое белье свою мокрую одежду.

— Наверно, у вас какие-нибудь неприятности в смысле любви, — неожиданно заключил старик.

— Да, наверно, — она застегнула тяжелое от влаги пальто и открыла дверь.

«Подождите же», — собирался сказать старик, но не сказал.

* * *

Дни были очень холодными. Таких морозов он не помнил. Холоднее всего бывало утром, но даже в полдень, когда низкие оранжевые лучи беспомощного зимнего солнца ложились на набережную, тепла почти не прибавлялось. В будке тоже было холодно: стекла были залеплены матовыми морозными узорами, кожаная обивка кресла затвердела, старый нагреватель выбивался из сил.

В один из дней полынья оказалась замерзшей. Непрозрачный, неровный и, очевидно, толстый лед вплотную примыкал к помосту. Старик стоял и долго, оцепенело смотрел на лед, пока не почувствовал, что холод по рукам пальто добрался почти до подмышек.

А потом: вверх-вниз, вверх-вниз, он начал согреться, лом с сухим хрустом входил в лед, из-под его острия летели стеклянные брызги, вверх-вниз, вверх-вниз. Сейчас, сейчас...

у него есть работа, и ее нужно делать... вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Наверное, ночью перегорели нагреватели... вверх-вниз, вверх-вниз. После одного из ударов из-под острия брызгнула тонкая струйка воды. Ага! Вверх-вниз, вверх-вниз. И вдруг во льду образовалась трещина. Она стала быстро удлиняться, а он зачарованно смотрел, как она растет. И когда он, наконец, отбросив лом, шагнул к помосту, было уже поздно. Льдина под ним накренилась (проклятый тонкий лед, нагреватели-то все-таки работали), и он соскользнул в воду. Он не ощутил мгновенного холода и только видел, как льдина над ним переворачивается, затворяясь, подобно ужасной двери.

Тусклое январское небо с куском гранитного парашета шарахнулось далеко вверх, оттесняемое, заслоняемое ледяной створкой с неровными зазубренными краями. Это мгновение длилось долго, бесконечно долго, повторяясь и копируясь, словно в месте следующего, уже другого, мгновения приходила пустота, на которой тотчас отпечатывалась снова и снова переворачивающаяся льдина. И он почему-то понимал, что время не останавлилось, не исчезло, а наоборот, нахлынув и обрушившись на него, беспрестанно убивало его мир. Оно содержало теперь тысячи, миллионы одинаковых мгновений, бесконечную вереницу, которая была не в силах завершиться, а вернее, он сам был не в силах ее завершить. И он вспомнил, что говорил ему парень без пальцев, который все же ошибся, потому что выйти было нельзя. Дверь закрывалась, закрывалась, закрывалась...

* * *

Глаза заволокло оранжевым туманом, в висках бешено стучало, по телу волной пробежала мучительная судорога.

Но постепенно туман рассеялся, мир снова стал ярким и отчетливым. Старик обнаружил, что по-прежнему стоит на льду

возле помоста. У его ног действительно шла тонкая ветвящаяся трещина, которая, впрочем, выглядела довольно безобидно.

Старик слотнул, и в каком-то оцепенении, медленно согнув отвердевшее тело, поднял со льда лом и взобрался на помост. Уже стоя на помосте, он как бы со стороны наблюдал, как его руки, словно захваты бессмысленного механизма, опустили лом на лед, подняли и снова опустили, и снова...

Наконец, небольшая льдина выпепилась, обнажив черный водяной лоскут. Потом руки разжали хватку, и лом, проколов этот лоскут, необратимо соскользнул вниз.

С болью в пояснице старик разогнулся и, тяжело ступая, поднялся наверх в будку. Там он уселся в кресло и выдвинул ящик стола, где были аккуратно уложены картонные карточки. Взяв один билетик, он положил его на ладонь и долго, с какой-то вопрошающей пронзительностью смотрел на него. Потом разорвал пополам и бросил в корзину, где уже лежало несколько пробитых билетиков, недавно извлеченных из автоматического турникета. Старик снова взглянул на открытый ящик с коричневыми стопочками, поколебался мгновение и задвинул его обратно.

В окошко постучали. Руки не было видно: стекло густо заросло матовыми морозными цветами, но сухой дребезжащий звук был слишком знакомым и однозначным.

Старик снова выдвинул ящик, взял билетик положил на ладонь. В окошко продолжали стучать. А он все смотрел, нерешительно, вопрошающе смотрел на картонный прямоугольник с лаконичной надписью...

* * *

К вечеру мороз ослабел. Начал падать крупный медленный снег.

Из дома вышел
человек



☞ **Б**ЫЛ тот единственный летний день в году, когда появление солнца над кромкой здания напротив в точности совпадало с началом рабочего дня. Огромное служебное помещение быстро заполнилось стуком нескольких пишущих машинок, который казался здесь таким же неотъемлемым, как пыль, плавающая в столбах солнечного света, телефонные звонки, как подрагивающие нимбы работающих вентиляторов. Начальник целиком уместившегося в этом помещении отдела сидел за низкой стеклянной перегородкой, отделяющей его стол от общего пространства, и пытался говорить по двум телефонам одновременно. Как обычно, ему это плохо удавалось. В конце концов, он раздраженно повесил обе трубки, взял со стола прозрачную папку с бумагами и направился к выходу, ловко лавируя между столами.

Он прошел по коридору, и его бесшумно заглотила вертикальная пасть скоростного лифта. Взгляд, скользнув по зеркалу, уткнулся в панель управления, и он нажал кнопку нужного этажа. Лифт послушно стукнул его по пяткам и увлек вверх.

Внезапно стало темно. Не сумеречно, а абсолютно, кромешно темно, как будто на голову набросили плотное одеяло. От неожиданности пассажир порывисто и глубоко вздохнул, а сердце его сперва сбилось с ритма, а потом стало отчетливо и часто колотиться. Он сообразил, что лифт уже не поднимается, а стоит, вернее, висит неподвижно.

Он принялся беспорядочно нажимать кнопки на панели управления, потом отыскал сигнал аварийной связи и несколько раз нажал. Ничего не изменилось. Он прислушался. Тишина. Он непроизвольно потер ладонью ухо, словно оттуда должен был вывалиться ком ваты. Судя по всему, за толстыми стенами шахты все шло своим чередом, и никто не собирался его вызволять. Поразмыслив, он решил, что разумнее всего спокойно ждать. Поэтому он нащупал маленькое сиденье в углу, уселся на него, откинулся к стенке и вдруг, впервые в своей сознательной жизни, почувствовал себя в полном одиночестве.

С подстанции сообщили, что последствия аварии будут устранены только к утру, и порекомендовали воспользоваться аварийными генераторами. Эти генераторы способны были дать лишь тусклый беспомощный свет в длинных безоконных коридорах. В результате прибывшей аварийной службе пришлось вскрывать лифты вручную. Наконец, через несколько часов после злополучной аварии, двери лифта были открыты, и из него, шурясь даже от тусклого света, выбрался невольный пленник.

— Извините, что заставили вас так долго здесь торчать, — заговорил один из ремонтников, — но все здание обесточено, и нам пришлось вначале заняться освещением.

— Ничего страшного, мне не было скучно, — ответил пострадавший.

— Может быть, вернетесь обратно? — пошутил ремонтник, собирая инструменты.

— Может быть... — пробормотал тот и стремительно зашагал по полутемному коридору, провожаемый удивленными взглядами.

Усевшись в свое кресло, он снял трубки с обоих телефонов и положил их на стол. Потом вытащил лист бумаги, обвел помещение скользящим взглядом случайного посетителя и начал быстро писать. Закончив и пробежав глазами написанное, он добавил слова «за свой счет» и оставил исписанный лист на столе. Поднявшись, он машинально взял дипломат, потом, передумав, задвинул его под стол и быстро вышел.

* * *

— Ваш шеф сегодня взял отпуск, — обратился директор к заместителю начальника отдела, сидевшему напротив, — я не совсем понял, на какой срок, но как бы то ни было, работа не должна пострадать.

Заместитель молча кивнул.

— Поэтому с завтрашнего дня вы займете место вашего начальника и будете выполнять его обязанности. Справитесь?

— Разумеется, — ответил заместитель таким тоном, словно риторическое сомнение директора задело его профессиональную гордость.

— Отлично. В таком случае, желаю успеха, — сказал директор, давая понять, что разговор окончен.

* * *

В квартире было пусто. Он стоял посреди комнаты, растерянно озираясь, как человек не знающий, что ему, собственно, здесь делать. В конце концов, подошел к телефону и, подняв трубку, набрал номер.

— Алло, это ты, моя радость?.. Нет, я хочу сказать, что уезжаю... не знаю, то есть надолго. Так что передай всем, что меня не будет. Надеюсь, что ты не будешь скучать... Вот и отлично... Я на это и не претендую... в конце концов... Ну что ж, привет, — сказал он уже телефонным гудкам и положил трубку.

В дверях он остановился и окинул взглядом почти забытую от долгой привычки комнату. Потом вернулся, снял со стены несколько старых фотографий и, засунув их в ящик стола, вышел, уже не оглядываясь.

— Надеюсь, эта командировка будет бессрочной, — сказала его жена два часа спустя, прочитав найденную на столе записку.

* * *

В приоткрытом окне машины свистел воздух. Под капотом проносились серые километры шоссе, а бетонная глыба города постепенно сваливалась с плеч. Появлялась странная легкость, как будто рассасывался годами нараставший между лопатками горб.

«Неужели все так просто? Несколько слов на бумаге, пара телефонных фраз... Какие же это цепи? Так, паутина... Легкое движение — и она рвется. Нужно только захотеть. Правда, паутина прилипчива. Трудно поверить, что я и в самом деле высвободился.

Черт, куда он лезет?.. Кретин, он что, не видит меня?! Ну ладно, пропущу... да, вырвешься тут... по крайней мере, они-то уж точно без меня обойдутся. Этот набитый индюк уже давно примеряет мое кресло, жена забудет меня раньше, чем соседи, ну, а у этой девчонки таких, как я... Получается, словно ты вышел из хора, а твои партнеры снова берутся за руки и продолжают танец. Потом ты уходишь даже из их памяти, вернее не ты, а твои нелепые проекции, существующие в каждом из них. Проекция мужа, проекция сына, сослуживца, старого приятеля, клиента в конце концов. Словно из этих проекций можно собрать всего тебя. Это все равно, что пытаться составить живого человека из отдельных органов. Выходит, что меня-то никто и не знает. Или это не так?..»

Машина продолжала нести его прочь от города, движение было небольшим, но у него все равно оставалось ощущение, что он едет в раздражающей транспортной сутолоке. Казалось, каждый встречный водитель цепляется за него взглядом, а потом передает его смазанный скоростью образ следующему, словно палочку бесконечной эстафеты.

Значит, он все еще продолжает жить в окружении бесчисленных двойников, изуродованных то углом зрения, то скоростью, то еще Бог знает чем.

Почти не притормаживая, он свернул на первый попавшийся проселок. Шум шоссе отдалился и постепенно был полностью заглушен ревом мотора его машины, единственной на всей дороге. Это принесло некоторое облегчение, которое, впрочем, скоро сменилось неуверенностью.

«Может быть, во мне ничего и нет, кроме суммы чужих впечатлений? Что останется, когда они выветрятся из памяти

всех моих знакомых? Я не знаю. Мы слишком привыкли оценивать себя по реакциям других. Но иногда этого мало. Например, сейчас».

Проселок продолжал беспорядочно петлять, а по сторонам стали попадаться небольшие аккуратные домики, возле которых работали люди. Пару раз ему даже пришлось притормозить из-за игравших на дороге детей. Опять вокруг начиналась все та же неотвязная сутолока.

Наконец по одну сторону дороги строения сменились лесом, вплотную подступавшим к обочине. Он затормозил и некоторое время сидел неподвижно. Потом выбрался из машины и, даже не захлопнув дверцу, быстро углубился в лес.

Прохладный лесной воздух наполнял легкие. Глаза уже привыкли к полумраку, кое-где прорезанному тонкими солнечными лезвиями. Он медленно ступал по упругому мху, усеянному сухими иглами, листьями, прошлогодними раскрывшимися шишками. Оглушившая его вначале тишина оказалась сложным переплетением звуков, объединенных какой-то непривычной гармонией. Они успокаивали, убаюкивали, подчиняя своему мягкому ритму. Обернувшись, он уже не смог различить ни своей машины, ни дороги, где он ее бросил. У него появилось чувство, что он сошел на какой-то Богом забытой станции, а поезд, в котором он всю жизнь трясся, с воем и грохотом пронесся мимо. В голове еще пульсировало, колотилось эхо этого грохота, но оно становилось все реже и глуше, затухая, сменяясь звучащей внутренней тишиной.

Он продолжал неторопливо углубляться в лес, постепенно теряя ощущение времени. Сняв с запястья часы, он повертел их в руках и сунул в карман пиджака. Затем

снял и сам пиджак и повесил его на сломанный сук. Поблуждав еще немного, он оказался у небольшого ручья с пологими, поросшими травой берегами. Он постоял некоторое время, глядя на течение, затем снял туфли, засунул в них вывернувшиеся наизнанку носки и боязливым городским движением коснулся прохладной воды. Вода подарила стопе ощущение прохлады. Закатав брюки, он побрел по песчаному дну вверх по течению. Один раз он обернулся и долго смотрел, как его следы на дне ручья постепенно теряли очертания, размывались и исчезали. Теперь он уже не мог бы найти ни место, где вошел в ручей, ни вспомнить, когда он в него вошел, да и зачем. Впрочем, сейчас это было не важно.

Ноги постепенно онемели, и он вышел из ручья на небольшую поляну. Обувшись, он побрел по ярко освещенной солнцем густой траве, постепенно ступая все медленнее, и наконец остановился.

* * *

Он лежал, широко раскинув руки и не мигая смотрел в небо. Тело было неподвижно и расслаблено. Он уже не мог пошевелиться, словно забыл, как это делается, словно для этого нужно было сначала отделить себя, почувствовать обособленность собственного тела. Осязание исчезло, зато возникло ощущение, что нервы его ушли глубоко в землю, пронизав ее бесконечно густой сетью, или наоборот, протянувшись вдоль стволов, погрузившись в зеленую шевелюру леса. А вместе с тем границы его мира начали сокращаться, придвигаясь все ближе, и в конце концов сомкнулись вокруг маленькой поляны, заросшей высокой желтеющей травой. Ослепительно синее небо медленно опускалось ему

на грудь между расступающихся деревьев, заполняя его, вытесняя все остальное, оставляя лишь то, что и было им самим.

Время остановилось. Даже не остановилось, а странным образом замедлилось, изменяясь, расплываясь, теряя обычную необратимость. Будущего не было — только настоящее.

Огромное, выходящее из берегов, смывающее один за другим пласты прошлого. И эти пласты, словно спрессованные собственной тяжестью песчаные монолиты, рассыпались на миллионы твердых, холодных, одинаковых песчинок, составлявших нелепое здание, которое он еще недавно считал своей жизнью. С неожиданной отчетливостью возникали надежно забытые эпизоды, лица, поступки, и тут же исчезали, постоянно уступая место новым. Этот непрерывный распад продолжался все стремительнее, все глубже и наконец стер последние строки памяти, оставив лишь необъятный чистый лист.

* * *

Детей было двое — мальчик и девочка. Они ушли из дома еще утром и уже давно беспорядочно блуждали по лесу, то удаляясь друг от друга и обмениваясь звонкими окликами, то сближаясь, чтобы вместе рассмотреть что-нибудь интересное. Каникулы подходили к концу, и эти последние летние дни дети старались проводить в лесу, зная о скоро предстоящем расставании с беззаботной загородной жизнью.

Девочка выбежала на залитую солнцем поляну и внезапно остановилась.

— Эй! Сюда! Смотри, что я нашла! — закричала она, глядя куда-то себе под ноги. Мальчик подошел к ней и со скептическим видом уставился на аккуратно разложенную на траве мужскую одежду.

— Это, наверное, кто-то потерял, — предположила девочка, которая была младше и поэтому всегда говорила глупости.

— Нельзя потерять штаны и этого не заметить, — произнес мальчик тоном, не допускавшим возражений.

— Ну, тогда, значит, он решил поиграть в дикарей.

— Скорее всего, он пошел купаться, — равнодушно сказал мальчик, явно потеряв интерес к находке. Затем лениво пнул лежащий на земле ботинок и пошел прочь. Девочка побежала за ним.

* * *

Теперь в его мире не было ничего окончательного и завершенного. Все стало возможным и осуществимым и, может быть, именно поэтому любое действие потеряло смысл. Существовало только пестрое многообразие желаний, которые, как цвета радуги, постепенно сливались в невидимый белый свет одного желания — быть, похожего на ощущение бесконечно дующегося вдоха. И впервые это желание стало выполнимым.

Внезапно он почувствовал непонятное вторжение, нарушившее всеобъемлющую цельность его состояния. И в ответ на это в нем начал проступать один из исчезнувших было слоев памяти. Становясь все отчетливее, он нес с собой ощущение надежной защищенности от огромного

и враждебного внешнего мира, существующей, несмотря на полную собственную беспомощность. И еще ощущение покоя, но не мертвого покоя непроницаемых железобетонных стен, а животворного, наполненного теплом и безмятежной неопределенностью.

Постепенно образовалась, вернее, восстановилась, казалось, навсегда утраченная связь, возникшая раньше других, и, возможно, потому способная затронуть единственное, что в нем осталось. Но теперь эта связь, не искаженная другими, вновь обрела первоначальную прочность, и ее уже невозможно было разорвать.

...Он разжал ладони, и из них выскользнули жесткие, упругие стебли травы. Высоко в небе шумели кроны деревьев, и медленно, флегматично плыло большое белое облако. Поднявшись, он отряхнулся, сунул ногу в слетевший ботинок и быстрым шагом пошел вдоль ручья.

* * *

Машина въехала в город и запетляла по улицам. Наконец, отыскав нужный дом, он затормозил у подъезда. Не дожидаясь лифта, взбежал вверх по обшарпанной лестнице и позвонил в почти позабытую дверь. Та распахнулась, на пороге стоял человек в расстегнутом белом халате.

— Кто вы такой?

— А вы? — спросил человек, загораживая проход. Ему пришлось, недоумевая, назвать себя.

— Вы опоздали. Ваша мать скончалась полчаса назад, — услышал он бесцветный голос врача и, пройдя вслед за ним по узкому коридору, вошел в комнату.

Через некоторое время он вышел из квартиры и, спустившись вниз, сел в машину. Еще через полчаса вокруг него снова был лес.

История болезни



Иванов мало спал в детстве. То поешь, то погуляй, то помолчи и заруби на носу, а потом намотай куда следует — поспишь тут. И вышло, что в розовые свои годы Иванов недоспал больше, чем переел.

Наверное, из-за этого ему потом все время хотелось спать. Он так хотел спать, что разучился хотеть все остальное — есть, любить, думать длинные мысли и поминать начальство по миниотчеству.

Родственники сказали Иванову, что он скоро и себя забудет в виду своей душевной лени и всякой вредной сонной мании.

А врач Фал Фалыч из поликлиники сказал Иванову, что если тот не урежет свой сонный рацион, то проспит все свои душевные процессы и потеряет связь с жизнью. Потому что, мол, здоровые люди треть жизни спят, треть едят и треть живут. А если спать две трети, то, значит, надо или не есть, или не жить. Ну а не есть нельзя, по той причине, что это и так ясно.

Я могу и не жить, сказал Иванов, мне спать интересней и привлекательней для тела. А Фал Фалыч сказал, что не жить — это еще не самое страшное, и что это его, Иванова, личная тема, и что гораздо хуже — проспять душевные процессы, потому что душа без процессов — это подозрительно и опасно для общества.

Иванов пришел домой, послонялся, поплевал с балкона в соседских детей и лег спать.

И действительно проспал все свои душевные процессы.

А потом проспал еще ужин, передачу «На здоровье», проспал, как у соседей украли серебряные подстаканники, проспал очень длинный сон про СПИД, а потом проспал еще два с половиной часа.

Проснулся и не узнал себя: и лицо какое-то не то — на теста похоже, и мысли какие-то ветвистые очень, и подпись в паспорте не разберешь, чья...

Удивился Иванов, разозлился и от злости решил выйти из себя. Вышел, осмотрелся, походил вокруг, за пивом сходил — закрыто, поплевал с балкона в околосемное пространство, посвистел, поорал... надоело.

Захотел Иванов прийти в себя. Но вдруг оказалось, что себя он потерял. Стал искать себя: туда-сюда ткнулся — ничего похожего нет — то рост не тот, то мозги слишком шумные, а то внутри такая вонь стоит, что лучше не надо.

Так и остался Иванов в эфире. Когда светло — на Луне прятался, потому как ее днем не видно, а по ночам пустую хату искал.

Нашел раз — хреновую, конечно: руки все исколоты, кровь жидкая, моча плохо держится, и глаза туго открываются. А все лучше, чем в эфире мерзнуть, орать и на тот свет без толку проситься душу согреть: они, дескать, бродяг не принимают в связи с тем, что много вас таких и что стажа нет и ботинки грязные; ты, дескать, иди-ка нах хаус, там помри законным образом, и мы тогда за тобой сами придем.

И влез Иванов в пустую хату, и пригляделся, и обвыкаться стал... а под утро чмырь какой-то ввалился — душа навыворот, слюна во все стороны света капает и зубы большие; ввалился и стал орать.

Ушел Иванов. Что зря скандалить?

Стал он снова по эфиру шататься, хоть сарайчик какой искать (а может, выгнать что ли кого?), мыкался, мыкался — вдруг: мой дом! Ну точно, он: бородавка на шее — раз, шрам на колене — два, жена Зойка, будь она трижды героем, — три. Ну, точно. Скакнул Иванов внутрь: ЗАНЯТО.

Сперва думал: выгоню — цап его за жабры и в аут, хорошего понемножку — мол, погостили, погостили, обобрали и ушли... А потом присмотрелся, познакомился — да хрен с ним, пусть живет, и в коммуналках люди живут, и в пещерах.

Сосед, кстати, оказался тоже Иванов, и тоже И. И.

Дальше—больше: впервые у Иванова близкий друг завязался, душою прирос и мыслями, так сказать, в соответствие попал. И впечатления у них общие, и в носу одновременно чешется. Полная взаимность, в общем.

Иванов и спать-то меньше стал. Он ведь, оказывается, раньше отчего спал — оттого, что одиночества всю жизнь с детства боялся, оттого, что не любит никто, кроме комаров, а те уж, если любят, так обязательно кровь пьют. Оттого спал, что душа болит и тухнет, и процессы в ней все навыворот протекают, оттого, что все это и не объяснишь никому, и понять никто не хочет по причине, что у каждого своя проблема ближе к телу, а чужая язва не печет. Вот и спал Иванов, чтоб про себя и про превратности свои не помнить. Ну, а теперь-то жизнь совсем другой медалью повернулась: тезка теперь есть — Иванов И.И. И радость у них общая, и боль — пополам, и понимают друг друга с пол-оборота, хоть целые сутки насквозь беседуй.

Только Фал Фалыч из поликлиники сказал, что, мол, шизофрения это, и предупреждал он нас, Ивановых. Дурак он, Фал Фалыч, так в своей берлоге один и подохнет.

Мокрые декорации



Человек добр, но люди злы.
Руссо

Все тихо. Нас в комнате только двое:
Я и рассудок мой...
Аполлинер

ПОНЕДЕЛЬНИК

Матвей подошел к окну и, стерев рукавом грязь и копоть, выглянул на улицу. Опять при виде окружающего спазмы сжали желудок, и kloкочущий ком ненависти чуть не хлынул горлом наружу. Тогда он достал из ящика стола стальную тетрадь в клеенчатой обложке, окунул перо куда-то в себя и вывел на чистом развороте каллиграфическим почерком: «ненависть». Буквы моментально проели тетрадку насквозь и, слившись в одно жгучее пятно, стали расплываться по ржавой бумаге, подбираясь к державшей ее руке. Матвей поспешно и брезгливо отбросил тетрадь в угол, где она рассыпалась с тихим стоном, и вновь ощутил, как внутри него колыхнулась та же густая черная масса. Он давно мечтал избавиться от нее, но боялся, что исторгнутая наружу, она зальет все, что его окружает.

* * *

Вторник

Матвей впервые вышел на улицу из своей затхлой комнаты, чтобы отыскать где-нибудь буханку хлеба. Вслепую бредя по улице, он был притянут магнитной вывеской и всосан в утробу необъятного супермаркета. Там ему сразу сунули огромную сверкающую тележку, и он покатил по наклонному полу между двух рядов стеллажей, набитых всякой всячиной, складывая в тележку продукты и кое-какие приглянувшиеся вещи. Тележка постепенно наполнялась и все веселее катила под уклон.

Наконец Матвей решил притормозить, но она уже набрала скорость, а с огромных шатких полок в нее сыпались все новые и новые предметы. Матвею приходилось уже бежать, а она все тяжелела и разгонялась, и когда он все же решился отпустить ее, то вдруг обнаружил, что накрепко прикован к ней теплыми железными зажимами. И вот он уже летит за ней, бессильно дергаясь, волоча по полу ноги и тряся серой головой, и наконец с размаху бьется об огромную бетонную глыбу кассы, успев лишь заметить сидящую на ней золотозубую усмехающуюся кассиршу, закутанную в бледно-зеленый плащ.

Ржавый лязгающий бульдозер выгребает его вместе с кучей обломков наружу, после чего он долго лежит на краю тротуара, выплевывая выбитые зубы и, не испытывая особого желания вставать, наблюдает, как в супермаркет всасываются новые посетители.

* * *

СРЕДА

Матвей в который раз брел по промокшим улицам, занавешенным серой тряпкой нескончаемого дождя. Он успел хорошенько промокнуть, пока окончательно не потерял надежду разглядеть город за этой угрюмой мокрой пеленой, и забрался пообсохнуть в подвернувшийся пустой дом, уставившийся на улицу незрячими провалами окон. В поисках местечка почище он взобрался на третий этаж и побрел по голому лабиринту то ли недостроенных, то ли недоломанных комнат. Заглянув в очередную отсутствующую дверь, он вдруг обнаружил, что в следующей комнате нет пола. Механически сплюнув в черный провал с торчащими кусками арматуры, Матвей направился в другую сторону, но и там обнаружил то же самое. Вздвогнув, он подошел к третьему проему, но и за ним была та же угрюмая пустота. Он не мог понять, как он попал сюда, и вообще, что ему понадобилось в этих загаженных развалинах? Он растерянно смотрел на безвыходные двери и не мог поверить, что всю жизнь придется провести на этих отмеренных ему десяти квадратных метрах. Вдруг Матвей заметил тонкую изломанную полоску света, распластавшуюся на грязном полу. Он взглянул на четвертую стену и понял, что свет сочится из бывшего окна, заделанного фанерой и крест-накрест забитого досками.

Ободрав кулаки, он все-таки выбил фанеру — и теперь перед ним был уже совсем другой город, в свежих лужах которого отражалось только чистое яркое небо. Матвей не спеша потянулся, вбирая в себя свет и воздух, и, держась за шершавое дерево, осторожно поставил ногу на карниз.

* * *

ЧЕТВЕРТ

Матвей стоял на остановке и недоумевал, почему он привлекает к себе такое навязчивое внимание окружающих его чужаков. Все старались заглянуть ему за спину, после чего начинали громко и оскорбительно перешептываться, похихикивая себе в кулак или ему в лицо. Он никак не мог понять их реакции, ведь обычно, когда он вымазывался в краске или надевал чужое пальто, они вели себя по-другому. Внезапно по указывающему на него пальцу бубнящей маленькой хромоножки он понял: у него на спине что-то написано. То ли на него прицепили рекламное объявление, то ли просто нацарапали, а может быть, там что-то именно про него, и это было всегда? Матвей попытался увидеть, прочесть эту надпись, но, как ни корчился, как ни извивался, выворачивая свою цыплячью шею, он только привлекал к себе еще больше внимания. А смех вокруг становился все злее, выкрики громче, и собравшаяся вокруг небольшая толпа уже выпихнула его в середину тесного круга...

Наконец, не выдержав, он срывает с себя пальто, пиджак, рубашку, остается только голая потная спина, по которой брезгливо шлепают кулаками — значит, это осталось и там. Он отчаянно пытается найти какую-нибудь опору, стену, прижаться к ней, — но кругом только люди и, как ни дергайся, все равно к кому-то приходится обратиться голой спиной.

Внезапно он спотыкается о подставленную кем-то ногу, падает ничком на землю и уже не может подняться, пригвожденный к земле десятками вонзенных в спину взглядов. Отчаянным усилием он переворачивается и видит над собой сострадательно склонившийся к нему клочок ясного неба, окруженный толпой темных скалящихся лиц.

* * *

ПЯТНИЦА

Матвей осторожно поднялся на ноги и огляделся. На этот раз он был в огромной зале, и везде вокруг находились причудливые сооружения из множества небольших зеркал. Такие же зеркальца были странным узором разложены по полу и пышными переливчатыми гирляндами висели в воздухе. Временами по залу пробегал сквозняк, и тогда каскады зеркал переливались и негромко позванивали, словно перешептываясь друг с другом. Матвей слегка поежился от окружавшего его хрупкого ледяного великолепия, взглянул на висящее рядом подобие люстры и вздрогнул — из каждого зеркальца на него смотрели чьи-то глаза: черные, синие, карие, с длинными ресницами или полуприкрытые морщинистыми веками, колючие или дружелюбные, чужие или неуловимо знакомые, очень знакомые, но чьи? Некоторое время он с удивлением рассматривал эти внимательные конструкции, и вдруг среди прочих — да, да, это они, он не мог ошибиться, — он протянул руку, но задел несколько соседних, они упали на пол и с тихим всхлипом погасли, превращаясь в жалкие черные ошметки. Матвей в ужасе отдернул руку — что он наделал! — и тут заметил под ногами целый ковер таких же пожухших и растоптанных им глаз. Он сразу понял, что ему здесь не место, что ему надо уйти отсюда как можно скорее, и пошел наугад, но как ни старался, все время задевал новые и новые блестящие лепестки, и черной полосой с опадающими хлопьями сажи тянулся за ним мертвый след. Матвей ускорил шаг, затем побежал, но чем быстрее он несся сквозь хрустальные заросли, тем сильнее вздымался поток разрушения вокруг, и вот уже целые каскады пронзительных взглядов звонко рассыпаются в прах

на его пути. А он все быстрее и быстрее летел вперед, только вперед, только бы вырваться, сохранить, уцелеть... И вот уже близко гигантская зеркальная стена, с которой на него смотрят чьи-то огромные, вековечно мудрые глаза, и тогда, собрав последние силы, он отчаянным рывком бросает свое тело прямо в этот бездонный взгляд...

Страшный удар отшвыривает его назад, и он корчится с разбитой головой среди кучи черных клочьев перед гладкой каменной стеной, с которой медленно осыпаются последние зеркальные осколки.

* * *

СУББОТА

Гулко топоча и роняя на пол клочья пены, Матвей пронесся по коридору и успел шмыгнуть за свой стол до того, как охранники спустили собак. Пока он хрипел и переводил дыхание, к нему подкатил секционный раздатчик и вывалил из мешка кипу грязных листов. Матвей вздохнул последний раз и приступил к работе: карандашом и бритвой он счищал с листа грязь, разукрашивал и аккуратно складывал на краю стола.

Кто-то отвинтил вентиль у раструба радио, и мутный поток звуков полился оттуда в стоящую на полу лохань. Радио работало весь день, и когда лохань переполнялась, приезжала безногая уборщица на маленькой тележке и заменяла ее на пустую.

Матвей старался не оборачиваться, а уйти с головой в плечи и в работу, поскольку прекрасно знал и так, что находится у него за спиной. Прямо за ним сидела «старая старуха Фрида Пална» — гигантская аморфная масса с ноздреватым влажным лицом, расплывшаяся по креслу. Ноги у нее давно атрофировались, и она уже навечно воссела на этом месте, молча поглядывая на окружающих из-под длинных набрякших век и непрерывно двигая спицами с вязаньем. Вяжет она всегда один и тот же воротник, нанизанный на длинные спицы, причем днем она сплетает хитроумный паучий узор, а ночью распускает его. Иногда она прекращает вязать и данной ей властью втыкает спицы в окружающих, чаще всего в Матвея, благо он рядом, пытаясь выдрать из него кусочки мяса. Матвей старается не обижаться, ведь только этим она и живет.

В углу, собранная из жести и наждачной бумаги, сидит

за электрическим пулеметом Люля и строчит Матвею в правое ухо. В целях обороны Матвей затыкает ухо комком жеваной бумаги, и когда Люля ненадолго замолкает, чтобы сменить ленту, вытаскивает влажный от крови комочек и засовывает на его место новый.

Еще по комнате шляется Боба-Уморист, дебил с постоянной слюнявой ухмылкой, чья обязанность заключается в выдергивании из-под Матвея стула всякий раз, когда тот привстает за новым листком; за огромным столом в дальнем конце сидят друг напротив друга Зинаида с фиолетовыми волосами и Уризон в грязном халате, они примерно одного возраста и пола, и занимаются тем, что по очереди рвут друг другу волосы. Иногда они вместе набрасываются на остальных, но так как спиц и пулемета они боятся, то нападают либо на Бобу (который уже давно и безнадежно лысый и к тому же обзавелся гладкой гусиной кожей), либо на Матвея. Уризон плетет из его выдранных волос веревочку, и Матвей ждет, что когда-нибудь она его удавит. В обед старая старуха дрыхнет, громко похлупывая, дамы бегут в магазин за новыми париками, а Боба хватается Матвея (еще одна его обязанность) и волочет в кормушку, где запикивает Матвею в рот какую-то гадость, сам доедает остатки и убегает, оставляя его в тщетных попытках выковырять эту дрянь изо рта.

После обеда приходит шеф, одетый в зеленый, расшитый золотом фрак, лоснящийся цилиндр, огромные черные усы и такие же сапоги. Он приносит Люле коробку с патронами и под аккомпанемент коротких очередей начинает хлестать присутствующих длинным кнутом. Лупит он всех подряд, но попадает, почему-то, в основном по Матвею. К счастью, он обычно быстро выдыхается и уходит, оставляя после себя запах свежего навоза.

Внезапно вваливается кочегар, наводя на всех ужас грязным ватником и перегаром. Сперва он долго громыкает ржавыми гаечными ключами, сосет пиво из бутылки, затем влезает на стол Матвея и начинает возиться с лампочкой над его головой, страшно матерясь, воняя и капая сверху расплавленным оловом. Наконец он замыкает все накоротко, удовлетворенно спрыгивает на ногу Бобе и, пошатываясь, уходит, забыв сумку с инструментами. На обгорелом проводе остается висеть разбитая лампочка, нежно подрагивая порванной спиралькой.

Минут за десять до конца работы Уризон убегает, унося с собой личный стул, а Зинаида остается писать на нее донос о нарушении режима. Написав, она подписывает его Бобой и Матвеем и затем посылает через Люлю шефу. Они продельывают это по очереди: завтра будет ее черед смотаться пораньше.

Наконец встает Люля, выключает разгоряченный пулемет, мажет лицо защитной краской, с наслаждением глядя на себя в зеркало, затем надевает бронепальто и, отмахнувшись от оставшихся, выходит чеканным шагом. Сразу после ее ухода Матвей тоже быстро выскакивает за дверь, долго трясется домой и там наконец сдирает с себя рабочую маску и с облегчением натягивает домашнюю.

Дома у него тепло, но всегда стоит кромешная тьма, потому что лампочки давно уже перегорели, он даже не помнит, когда. Где-то, они, наверное, остались, но разве отыщешь их в этой темноте? Впрочем, так даже и удобнее. В темноте он спокойно ест, читает, даже говорит с кем-то из домашних, затем ложится и старается разглядеть хоть какой-нибудь сон, но как он ни вертит головой, из-за проклятой темноты опять ничего не видно, лишь какие-то непонятные тени. После вось-

мой попытки он бросает это занятие, встает и едет обратно на работу.

Теперь ему остается одно — отыскать в окружающем какое-нибудь уязвимое место, плохо слеplенный кусок, постараться пробить в нем дырку и вылезти наружу, туда, где можно дышать без респиратора и ходить не оглядываясь.

Он уже даже знает одно такое место — у окна с небрежно намалеванным на стекле городским пейзажем. В сырые и дождливые дни стена там размокает и становится мягкой и податливой, как мокрый картон. И вот он выжидает подходящий день поугрюмее, стущает краски, усиливая момент, затем подходит к стенке и внезапно и резко бьет по ней кулаком. Стену явно застали врасплох, и кулак легко прорывает гнилой камень и оказывается где-то снаружи, а из рваного отверстия по краям сочится мягкий свет. Тогда Матвей хватается за прорванные края и, разодрав дыру пошире, просовывает в нее голову.

Внезапно прямо перед ним оказывается бескрайний морской берег, покрытый шелковистым даже на глаз песком, на который лениво набегают волны цвета самих себя, обрамленные белоснежными кружевами пены. Чуть повернув голову, он видит зеленую рошу, свежeweымытую весенним дождем, затем бескрайнюю степь с пунцовым заходящим солнцем, затем заснеженные горные склоны, тайгу, джунгли... Затем стена вокруг шеи, словно опомнившись, внезапно затвердевает и начинает медленно сжиматься обратно. Матвей рвется назад, но уже поздно: его голова оказывается прочно зажатой в этих безнадежно серых тисках.

Окружающие, сперва с опаской следившие за его действиями, поняли, что теперь он стал совершенно незащищен,

и тут же, набросившись на него, принялись с ожесточенным упоением бить, рвать и царапать его тело. Он попытался было вслепую отбрыкиваться ногами, но скоро перестал и, выбрав нужный ракурс, спокойно наблюдал за игрой красок на морской глади, вдыхая соленый воздух и лишь иногда вздрагивая от особенно болезненного удара.

* * *

А на следующий день было Воскресенье.

Человек и гора



Он был молод и еще не боялся уставать. Много дней, одинаковых длинных дней он шел по бесконечной пыльной степи, где спит ковыль, где грозы ищут одиноких, где рождаются и умирают ветра.

Звали его Ильмар. В этой степи прошло его детство, такое же ровное и пустое, как и сама степь. Он сам не знал, куда и зачем идет, но что-то толкало и влекло его, заставляя день за днем уходить все дальше от дома.

Однажды утром, когда свежее солнце сделало воздух прозрачным, он увидел гору. Никогда раньше он не видел ничего подобного. Ильмар вспомнил странные рассказы стариков о месте, где Земля совокупляется с Небом. Теперь он знал, куда идти.

Когда Ильмар подошел ближе, то у подножия горы увидел город, а за ним странную степь из воды — море. Город был небольшой, несколько десятков узких улиц, но Ильмару он показался огромным: дома-великаны, многоголосая толпа, пестрые чудеса базаров и лавок — все пугало и притягивало его.

За небольшую плату Ильмар устроился на ночь в одной из рыбацких лачуг на берегу, а наутро уже не пошел дальше.

II

Очень скоро город перестал пугать Ильмара суетой и размерами, он был уже ни большой, ни маленький — как раз впору. Ему нравились каменные мостовые и деревянные причалы, пряный запах трактиров и беззлобная болтовня горожан.

Он свел знакомство с рыбаками, и на рассвете, когда к солнцу вытягивалась золотая дорожка, обещавшая прямой и удачный путь, Ильмар стал уходить с ними в море.

Он научился травить сеть и ловить парусом капризный ветер и по опыту узнал, что порой вода оживает и делается своевольной. Он питался рыбой и полюбил считать волны, а вечерами сидел у костра на берегу и слушал неспешные рассказы рыбаков. Говорили они обычно о море — о чем еще умеют говорить рыбаки — о штормах, крушениях, кораблях-призраках, о подводных существах со стальными плавниками и холодной зеленой кровью.

Первое время Ильмар иногда расспрашивал их о горе, но те в ответ лишь молча пожимали плечами или как бы нехотя рассказывали странные, похожие на выдумки легенды, от которых в душе оставался холод, а мысли делались чужими.

Когда костер старился и тихо бездымно умирал, Ильмар возвращался в свою лачугу и засыпал, отдавая тело покою, а душу — снам.

А наутро снова были те же люди, та же лодка, тот же город и гора над ним, и только море каждый раз было другим.

Так прошел год.

III

Была вечер, и рыбаки возвращались. Дно лодки было завалено трепещущей рыбой. Ильмар сидел на носу и неотрывно смотрел на темный силуэт горы. Багровое закатное солнце только что устало легло на ее плоскую макушку, а красноватая дорожка бежала от лодки и обрывалась почти у самого берега, там, куда уже дотянулась вечерняя тень горы.

Наконец лодка уткнулась в прибрежный песок, и тогда Ильмар сказал рыбакам, что не пойдет с ними завтра в море. И те молча ушли, унося свою сеть и умирающую от воздуха рыбу. Их ждали семьи.

С Ильмаром остался только старик, который пережил всех своих близких: теперь ему некого было кормить, но он продолжал ходить в море, потому что не знал ничего другого. А может быть потому, что море нельзя пережить.

— Ты хочешь уйти из города? — спросил старик Ильмара.

— Да. Завтра.

— Почему бы тебе не остаться? Мы уже успели полюбить тебя. Я знаю, тебе здесь хорошо. А скоро ты тоже научишься любить нас.

— Мне нужно подняться туда, — Ильмар махнул рукой в сторону горы. — Вот уже неделю я поднимаюсь туда во сне. Но я вернусь. Я сразу вернусь. И тогда я снова буду ходить с вами в море. И буду учиться любить вас.

— Немногие ушли туда, — сказал старик, — но не возвратился никто. Подняться трудно, но спуститься невозможно.

— Разве ты был там, что так говоришь?

— Нет. Я родился в этом городе. Поэтому мне не нужно туда.

IV

Ранним влажным утром Ильмар вышел из западных ворот города и начал свой подъем. Он легко одолел предгорье, сплошь заросшее колючим кустарником, потом бурый каменистый склон и к полудню оказался у самой вершины. Гора оканчивалась почти отвесной скалой, походившей на огромную бочку. Цепляясь за уступы и трещины, Ильмар полез вверх. Подниматься было трудно: ноги скользили, а слишком яркое солнце слепило и жгло глаза. То ли оно пыталось помешать ему, то ли предостеречь, а может быть, просто не хотело, чтобы к нему приближались. Но он был молод и вынослив, и наконец, почти без сил, выполз на вершину. Это была пустая каменная площадка, покрытая узкими трещинами и сухим птичьим пометом. Отдышавшись, он глянул вниз.

Все теперь стало другим для него: город был совсем маленьким — можно накрыть ладонью, крошечные дома, тоненькие прожилки улиц, а людей и вовсе нет, так, копошиться что-то. Все казалось Ильмару смешным и жалким, и только море стало еще больше, чем раньше.

Остаток дня Ильмар провел на вершине: шагал по нагретому камню, лежал, подставляя себя солнцу, смотрел — то вниз, на землю, то вверх, на небо. Но вскоре наступил вечер. Солнце, все такое же далекое, как и раньше, коснулось горизонта, и длинная густая тень от горы накрыла город. Воздух похолодал, а небо начало синеть, отодвигаться, и наконец вовсе исчезло, оставив лишь ночную пустоту, в которой висели луна и звезды.

Бесприютно и страшно было теперь на мертвой каменной вершине, одиноко и холодно. Он вспомнил странные легенды,

которые теперь уже не походили на вымысел. Ильмар подошел к обрыву и вновь глянул вниз, но теперь там был только густой мрак. Он начал спускаться, но успел продвинуться совсем немного, когда почувствовал, что ноги не находят опоры, а руки слишком слабы, чтобы долго удерживать тело. Он понял, как много сил отдал подъему. Так много, словно не собирался возвращаться.

Теперь Ильмар беспомощно висел на отвесном склоне, не в силах двигаться ни вверх, ни вниз. Пальцы его деревенели и медленно разжимались.

Ужас охватил Ильмара и сделал тело его чугунным, а душу — текучей. Сейчас он упадет, камни переломят ему хребет, земля расплющит тело. Ильмару вдруг нестерпимо захотелось, чтобы Земля исчезла, навсегда канула в бесконечную пустоту. И тогда он спасен! Пальцы разжимались. Это Земля тянула его вниз, чтобы пожрать. Пусть, пусть она исчезнет...

Онемевшие пальцы уже отрывались от скалы, и в это мгновение Ильмар увидел руку. Она протянулась к нему сверху. Черной была эта рука, чернее скалы, чернее ночного неба, и только узкие длинные ногти серебрил лунный свет, замерло его сердце, но в этот миг пальцы разжались, и тогда Ильмар схватился за эту руку. Схватился, и тут же снова оказался на вершине.

Там было пусто. Так же пусто, как раньше. И лишьверху, ни на что не опираясь, висела луна.

Почти сразу Ильмар почувствовал, что пальцы у него горят, а тело пронизано холодом, и холод этот проникал все глубже. Он долго сидел на вершине, ожидая, когда луна уйдет, а на смену ей придет солнце и теплый ветер. Но солнца не было, ночь застыла, а холод становился сильнее, и все нестерпимее

горела рука. В отчаянии Ильмар подошел к обрыву и шагнул вниз, в темноту.

Он падал. Еще мгновение, и он разобьется о камни. Но он все падал и падал. Земли не было, только падение в пустоту. Падение без конца...

V

Следующее утро снова было солнечным. И вновь к городу с востока тянулась через море золотая дорожка. А к подножию скалы подошел некто в широкополой шляпе, скрывавшей лицо, наклонился над холодным уже телом и снял что-то с шеи. Затем повернулся и стал медленно спускаться вниз, в город.

Повесть



БЕЗВРЕМЕННИК



Ночь, богатое звездами бархатное южное небо, теплый воздух постепенно остывает, густеет, мягко стекая с гор на побережье. Неутомимо звенят цикады, где-то в поселке лениво перелаиваются собаки, а здесь, на берегу, море ритмично и гулко вздыхает, разделяя тягучие ночные часы на сотни коротких пауз, словно напоминая, что время идет даже во тьме и всегда будет идти вот так же мерно, отрешенно, равнодушно, как дыхание моря.

На пустом берегу стоит человек. Он только что сбросил одежду на большой, еще теплый валун, оставшись в коротком купальном костюме, и подошел к самой воде. Человек стоит неподвижно, всей кожей ощущая робкое движение воздуха, затем делает несколько шагов вперед, неуклюже переступая по каменистому дну, и наконец, глубоко вздохнув, бросается вперед, в упругую колышущуюся темноту. Он плывет, широко и уверенно взмахивая руками, постепенно переставая ощущать терпкую сентябрьскую прохладу воды. Мышцы наполняются теплом, вода плавно скользит вдоль тела — коварная ласка моря.

Изредка человек перестает грести и осматривается: сзади — тусклая цепочка береговых огней, чуть выше — силуэты

карликовых крымских гор, а еще выше — головокружительная пустота, испещренная звездной тайнописью. И он плывет дальше, все острее ощущая другую пустоту — внизу, под ним, беспросветную, колышущаяся, выжидающую. Он ритмично погружает в нее руки, отталкивает ее от себя ногами, но она не отступает, не движется. А берег уже невообразимо далеко, его огоньки сейчас не ближе, чем звезды. Не пора ли назад?

«Пора, пора, — гудит, колотится в груди усталое сердце, — пора, — тяжело выдыхают легкие». Но нет, еще рано. Нужно уйти еще дальше от берега, пока не исчезнут огни, пока не останется лишь один-единственный, и только тогда он решит себе повернуть назад.

Уже долго, чересчур долго человек находится в воде, гребки его становятся все реже, тепла, которое дает движение, уже не хватает, чтобы уравновесить необъятный холод снаружи. Наконец он словно нехотя поворачивает и, не дав себе ни минуты отдыха, плывет обратно. Но гребет он теперь медленно, коротко, глубоко уходя под воду после каждого вдоха. А берег, словно почуяв это, никак не хочет приближаться, его огни все также далеки и нереальны, словно с каждым его гребком вперед они делают шаг назад.

Все новые и новые усилия, но движения нет. Там, на берегу, под аккомпанемент прибоя идут секунды, ползут стрелки часов, рождаются, живут и умирают люди, но здесь, в ночном море без берегов, время исчезло. По крайней мере, для него. А когда исчезает время, любое расстояние делается бесконечным.

И все же человек продолжает устало, почти безразлично плыть к берегу. Правда, несколько раз такой заплыв уже кончался благополучно... Мышцы начинают неметь, тело постепенно теряет гибкость, покрывается стальной паутиной озноба.

Неужели он не боится? Боится.

И не просто боится — его страх огромней, отчаянней обычного страха случайной гибели, боязни скоропостижно лишиться нескольких оставшихся десятилетий, из которых половина — болезни и старость.

Его потеря больше, неизмеримо больше, и во столько же раз громадней, безжалостней страх этой потери. Жизнь с этим страхом невыносима, и, чтобы побороть его, он и совершает все эти рискованные заплывы, экспедиции, восхождения, полеты на аэропланах. Клин — клином, только так. Все равно этого не избежать — когда у случая много времени, он всемогущ. Но отпущенное время можно, по крайней мере, провести с высоко поднятой головой.

Жгучая боль судороги пронзила ногу, и человек камнем пошел вниз. И тут он понял, что ждал этого мгновения уже давно. Очень давно. Вот он, тот самый случай. Он вынырнул на поверхность и закрутился волчком, отчаянно пытаясь растереть мускулы. И тотчас же бесформенный, прожорливый ужас, сметая хрупкие преграды сознания, захлестнул его целиком, ужас, неизмеримо больший жалкого страха случайной смерти. Вновь он вынырнул на поверхность, хватая немеющими губами колющий воздух, но дикая режущая боль поднималась все выше, и вместе с ней рос в сознании сгусток отчаяния, муки, жалости к себе, все реже ему удавалось сделать спасительный глоток жизни, пальцы немели и не слушались, и вот в какой-то миг этот мучительный сгусток лопнул, страх и боль исчезли, и остались только огромное облегчение и усталость, как бывает на финише тяжелого марафона, когда наконец можно остановиться, опустить руки и упасть без сил. Его бесконечный заплыв позади. Вот он — берег.

* * *

В 1879 году Андрей Казин поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского Университета. Еще будучи студентом последнего курса, он сильно увлекся этнографией и поэтому, после окончания Университета в 1885 году принял участие в экспедиции Г.Е. Грум-Гржимайло по Средней Азии, а затем в его знаменитой путешествию по Памиру в 1887 году. По возвращении оттуда он опубликовал несколько статей о среднеазиатской фауне, а также об обычаях некоторых кочевых племен. В 1889 году он вступил в Императорское Русское Географическое общество, а на следующий год вновь отправился в экспедицию, на этот раз вместе с К.К. Чердынцевым по Тянь-Шаню. Теперь, после этого похода его труды были почти полностью посвящены описаниям образа жизни и своеобразных обрядов в посещенных ими селениях.

Вскоре он, будучи человеком состоятельным, организовал собственную экспедицию в отроги Тибета и в 95–96 годах посетил Лобнор, долину Куллауи был допущен даже в Ахасу, недалеко от которой и предпринял безрассудную попытку в одиночку, оставив всех товарищей в базовом лагере, проникнуть дальше в заповедные горы. Несмотря на его скорое возвращение с этой сумасбродной вылазки, она явно оказалась не совсем безуспешной, поскольку после прибытия обратно в столицу Казин опубликовал отчет в «Вестнике Московского Общества Испытателей Природы», изобилующий маловероятными и вовсе невероятными подробностями. Отчет этот был с недоверием встречен его коллегами, и неоднократно подвергался различным нападкам как письменным, так и устным. Однако поскольку сам автор никак не пытался отста-

ивать свои сенсационные открытия, шум вокруг сообщения быстро утих, а вскоре после этого из поля зрения надолго исчез и сам Казин.

Вновь появился он лишь спустя пятнадцать лет, когда уже мало кто мог вспомнить не только его бывшую популярность, но и просто имя. Да и сам он отнюдь не стремился привлечь к себе внимание, держался замкнуто и лишь изредка посещал некоторые собрания и заседания Московского общества. На одном из таких вечеров он и познакомился с Долгуновым.

* * *

За темными окнами влажно гудел дождь. Капли сотрясали стекла, одушевляли гулкую жесть карнизов, разбивали головы о невидимую крышу. Они падали вразнобой: то чаще, то реже, усталая армия дождя расхлябанно, не в ногу брела через ночной осенний город. То-то будет сшибленных листьев наутро. Вразнобой тикали тысячи часов (а ведь мир — это и есть множество идущих с разной скоростью часов), заглушая привычный сухой голос больших настенных, висящих напротив кровати.

Казин оторвал голову от подушки и прищурился, вглядываясь: вместо циферблата — пустое белое пятно. Ах, да: кажется, вчера, проветривая свое хроническое отчаяние, он зачем-то замазал циферблат белой краской. Странно... Казин тишечно прислушивался сквозь дождь — кажется, именно эти-то часы и стоят.

Прошло несколько минут, и комната вдруг наполнилась массивным бронзовым звуком. Потом еще и еще... часы пробили пять. Всего лишь пять утра, выходит, он не проспал и трех часов. Давешняя их беседа с Долгуновым перетекала далеко за полночь. Как обычно. Да только не совсем...

Казин сел на кровати. Что же его все-таки разбудило? Шорохи? Вкрадчивые шаги? Осторожное клацанье затворяемой двери или всего лишь дождь? Казин пристально вслушивался в гулкую пустоту квартиры, и в нем все отчетливей, все резче проступало чувство: что-то произошло. И он, конечно же, знал что. Потому что даже во сне тревожно, бессознательно ждал этого. Потому что он сам, — да-да, сам, пусть не осознавая, пусть в обход самого себя — подготовил это, подвел к этому весь давешний разговор и оставалось лишь поставить закономерную точку...

Вскочив и поспешно набросав что-то на плечи, Казин проскользнул по коридору в кабинет. Это был, собственно, не совсем кабинет, а своеобразный гибрид лаборатории и кабинета, да к тому же с поползновениями на элегантность в мебелировке: двухтумбовый стол на самоуверенных кабаньих ножках, красное дерево книжных полок, тусклое шитье ковра... крохотный дубовый шкафчик с инкрустацией перламутром, дверца чуть приоткрыта. Казин распахнул ее настежь: склянки с препаратом не было. Все сходилось. Ловушка сработала. И попали в нее они оба...

С какой-то бесполезной угловатой стремительностью Казин бросился в соседнюю с кабинетом комнату, порывисто зажег свет. На дутом, обтянутом кожей английском диване, где по установившемся в последние месяцы обыкновению нередко спал Долгунов, лежала папиросная пачка, пустая.

Постель была собрана в бесформенный узел и почему-то засунута под стол. Казин бессмысленно обвел взглядом пустую комнату. Здесь тоже висели массивные настенные часы, на этот раз с нетронутым золотым циферблатом и кругобедрыми ампирическими стрелками. Эти часы стояли.

Казин выбежал на улицу, постоял, озираясь, у подъезда — дождь выдохся, но еще моросил; тусклый, плохо вымощенный переулок признаков жизни не подавал, ожидая, вероятно, позднего осеннего рассвета. Не спеша, ощутив вдруг какую-то мутную усталость, Казин вернулся в кабинет. Там он уселся за стол и окаменел, вогнав клин подбородка между подставленных ладоней.

Ночь продолжалась. В теплые, мутно-желтые щеки настольной лампы колотилась, бестолково мигая крыльями, большая бабочка. Из центра лампы, казалось, исходила необъяснимая гравитация, и несчастное насекомое вовсе не стремилось к лампе, наоборот, все время пыталось улететь от нее, но не хватало сил, не хватало скорости, бабочка на мгновение отрывалась от стекла, но потом, увлекаемая силой тяжести, неизбежно падала обратно.

Внезапно разорвав оцепенение, Казин поднял голову и решительно занес ладонь над насекомым. Но удар в последний момент не состоялся, и он лишь отбросил бабочку далеко от лампы, ощутив ладонью испуганный трепет крыльев.

Оставалась все же крохотная надежда: Долгунов мог взять для того, чтобы просто иметь выбор, точнее, владеть возможностью выбора. И тогда все еще обратимо... Многие ведь любят хранить в секретере, скажем, заряженный револьвер, хотя так до конца и не воспользуются им.

Бабочка уже успела вернуться к лампе. И не одна — теперь и тщедушный зеленокрылый мотылек беспорядочно колотился о теплое стекло. Интересно, сколько еще этих долгожительниц рассеяно по квартире? Насекомые временами сталкивались, но даже тогда не замечали, не чувствовали друг друга и продолжали неистово штурмовать лампу. Снова, снова... бесконечно, бессмысленно... как любая болезнь...

Казин потер виски: начинала гудеть голова. Неужели действительно болезнь? Вспомнилась фраза, которую как-то странно оборонил Долгунов в давешнем разговоре: «Выходит, бессмертие — это просто инфекционная болезнь?»

И кто же тогда он, Казин? Прокаженный, который занимается распространением проказы? Но заразиться можно все-таки лишь по собственной воле, а он только предоставил возможность. И ведь он не хотел, не хотел даже этого... точнее, не сознавал, что хочет... И вышло все как-то случайно, само собой... Но ведь судьба больше всего на свете любит прикидываться случайностью! Он вовсе не собирался рассказывать, но в некий момент их беседы зародилась какая-то смежная тема, проходной повод, сорвались две-три случайных фразы... и вскоре тормозить было уже поздно. Впервые Казин поведал кому-то об этом. А почему бы и нет, в конце-то концов? Почему бы не сыграть в «раскрытие тайн»? Было ли облегчение, освобождение от чудовищного тугого, тяжелого гнойника, который вдруг лопнул?.. Пожалуй, да — и именно тогда, в самом начале, где-то у самого горизонта сознания, мелькнули настоящие подводные мотивы, но Казин не разглядел их. Потому что хотел не разглядеть... слишком хотел.

Впрочем, он уже не умеет долго обманывать себя. Настоящий возраст, вероятно, и определяется склонностью к самообману. Поэтому-то Долгунов так легко и охотно попал в западню.

— ...но ведь это нельзя доказать. Как можно продемонстрировать смертному бесконечность во времени? — Долгунов говорит с нескрываемой иронией, как бы не принимая разговор всерьез и лишь подыгрывая партнеру. — И откуда вы сами знаете, что это, гм, снадобье сохраняет биологическое

состояние организма сколь угодно долго? Или, может, вам самому — миллион лет?

— Разве я похож на человекообразную обезьяну? — Казин улыбается: игра, дескать. — Ну, а доказать, — Казин снова улыбается, но уже по-другому: разве можно ему объяснить, что состояние, когда чувствуешь ЭТО внутри себя, делает ненужными и смешными все доказательства, — или, по крайней мере, проверить на правдоподобие все-таки можно.

— Взгляните-ка сюда... — и Казин указывает на растения, занимающие широкий подоконник.

Долгунов встает, разгибая во всю длину свое сухопарое тело, и подходит ближе. Он немного сутулится, правое плечо ниже левого, волосы начинают редеть, глаза близоруко щурятся: молодость уходит. Точнее, она, открыв дверь, еще стоит на пороге, бросая через плечо последний нерешительный взгляд. Пора прощаться...

— Видите эту китайскую розу? Ей шесть лет. И все эти шесть лет она непрерывно цветет. А вот такая же, но без цветков. Этой даже больше шести. И все это время она ни разу не цвела; все зависит от того, в каком момент ввести препарат. Происходит своего рода заморозка, с той лишь разницей, что растения остаются живыми, питаются и даже пахнут. Но при этом они не растут. За шесть лет — ни на сантиметр. Но и не чахнут.

— А семена? Они, значит, не дают семян?

— Разумеется, разумеется. Размножаться они не способны, — Казин берется за край тяжелой зеленой портьеры, делает взмах — по материи прокатывается волна, дутый суконный пузырь. От него в пустоту кабинета шарахается несколько бабочек. Нелепое зрелище.

— Вы когда-нибудь видели в октябре столько бабочек? — продолжает Казин. — Самым старым уже лет по десять.

— Не хочу занудствовать, — Долгунов постукивает длинным указательным пальцем по ручке кресла, — но мало-мальски научное рассмотрение требует не столько эффектов, сколько проникновения в суть дела. В конце концов, фокус — это как раз и есть эффект без сути, так сказать.

Разговор продолжается. Позиционный, шахматный, ненастоящий. Все еще можно обратить в шутку. Для Долгунова это пока что пустой эффект, техническая проблема, полигон для дискуссии, на него еще не обрушилась чудовищная тяжесть сути...

Казин разъясняет: оказывается, средство — это культура бактерий, которые, поселяясь в живом организме, вступают с ним в очень странный симбиоз: они «запоминают» то состояние организма, которое они застали, и поддерживают его неограниченно долго. Он достает пробирку с культурой, капают на стеклышко и вставляет стеклышко в микроскоп. Они поочередно смотрят.

— Ну, хорошо, животное, предположим, живет сколько-кху удобно, — Долгунов кашляет, выражение его лица изменилось, оно как бы осело, и в то же время приобрело некую настороженность (неужели решающий аргумент для него — смешные пятна в окуляре?), — а что происходит с самими бактериями?

— Когда они вне организма — в пробирке, то, вероятно, ничего. Своего рода летаргия. Они могут спать бесконечно. А внутри... внутри они размножаются и умирают. И за счет этого каким-то образом сохраняют неизменным сам организм. Тело, в котором они живут, для них... ну, что ли, родовая память или же культурное наследие. И их единственная цель — сохранить его неизменным.

— Но это же инфекция, она может неконтролируемо передаваться, — Долгунов говорит почти шепотом и все время облизывает губы.

Казин, словно бы не расслышав, задумчиво продолжает:

— Можно вспомнить термитов; тело животного как раз и становятся таким термитником, где рождаются и умирают бесчисленные поколения, поддерживая общий дом прочным и неизменным.

— Но инфекция...

— Чтобы культура прижилась в организме высшего животного, необходимо ввести в кровь очень значительное число бактерий. Эпидемия здесь невозможна.

— Но, по-вашему, выходит, бессмертие — это вроде инфекционной болезни. Это какая-то нелепость.

— Почему же болезнь? У вас в организме живет кишечная палочка. Разве это болезнь? Почему-то принято считать болезнью любое отклонение от нормы. А ведь болезнь — не просто отклонение, это отклонение, которое убивает. Это...

Казин неожиданно замолчал: ведь и убивать можно по-разному. Каждая болезнь убивает по-своему: острая — почти мгновенно, хроническая — долго, может быть, даже бесконечно долго, маскируясь внешним здоровьем, не выдавая себя явными симптомами и проявляясь лишь апатией, пустотой, тихим тлеющим отчаянием... смерть, вытянутая во всю длину жизни...

— Но ведь все наоборот, — внезапно заговорил Долгунов странным, ни-к-кому-не-обращающимся тоном, и тут же осекся.

Казин взглянул на него: что-то изменилось в его собеседнике: лицо еще больше съежилось, и все тело стало как бы меньше, тоньше, словно отодвинулось в бесконечность, и говорил он иначе, словно сам с собой, часто моргая и непрерывно сглатывая слюну, от чего взволновано двигался острый

кадык. Видимо, суть их разговора из рациональной части сознания, проев перекрытие, перешла куда-то глубже, провалилась внутрь и там уже начинала свое разрушительное действие. Он наконец почувствовал безбрежность и бездну, соблазн и ужас. Он поверил факту, поверил возможности, и при этом...

* * *

Окно было уже серым. Растения казались сделанными из жести — их почти черные контуры ажурной решеткой покрывали проем. Лампа все еще горела, но уже из последних сил — вздрагивая и мигая. Казин продолжал сидеть за столом в неудобной позе, навалившись грудью на острый край.

Бабочки куда-то исчезли. Он был один. Один в комнате, в доме, в городе, в... И то, что вокруг ежедневно существовали, дышали, болели, умирали, рождались бесчисленные другие, только усугубляло одиночество. Преодолеть барьер невозможно. Именно потому, что они другие, потому, что даже если он и сможет понять их, ощутить, точнее, вспомнить их проблемы, ему никогда не удастся объяснить им себя. Мужчина не может объяснить себя женщине, взрослый — ребенку, мертвый — живому...

Он — один. Единственный взрослый среди миллионов детей. Чужих детей. Он уже не умеет играть. Он не знает зачем...

Единственный выход — найти еще одного взрослого. Или же взять на воспитание «чужого ребенка» и вырастить из него равного себе. В конечном счете, вчерашний разговор — и теперь Казин понял это окончательно — он вел именно и только для этого.

Но можно ли разделить одиночество на два? Не будет ли результатом всего лишь два одиночества?

Казин прошагал в комнату и стал спешно одеваться. Сыроватая, неподатливая одежда шершаво сопротивлялась. Наверняка Долгунов еще не успел... все еще можно повернуть, нужно только рассказать правду, точнее то, что сейчас кажется правдой...

На улице Казин поймал заспанного извозчика, дал адрес и подогрел его рвение полтинником. Влажно цокали подковы, на щеках оседала дождевая пыль, похмельно-промозглое утро брело, неуклюже цепляясь за стены, по Замоскворечью. Ему нужно успеть рассказать правду. Чтобы Долгунов действительно выбирал, а не просто попался в ловушку. В капкан, который захлопнулся, когда он поверил факту. И при этом перестал верить ему, Казину.

* * *

— Насколько я понимаю, вы испытывали препарат и на себе? — вскользь, как бы небрежно роняет Долгунов. Но сколько же напряжения в этой небрежности...

— Неужели вы считаете меня авантюристом? — Казин улыбается резиновой улыбкой. Зачем, зачем нужна была эта улыбка? Неужели, чтобы легче и соблазнительней было не поверить?

— Так вы не ввели...

— Н-н-нет, — длинное, подозрительно протяжное «н», и затем, как бы спохватившись, — конечно, нет.

— Почему, «конечно»? Неужели хотите облагодетельствовать человечество бессмертием, а сами гордо, — и откуда у него эта ирония? — гордо уйти в небытие?

— Нет. Это тем более исключено. Я, впрочем, довольно долго колебался, — Казин зачем-то пощелкивает пальцами, — но теперь для меня вполне очевидно: человечество не должно получить препарат ни в коем случае, — Казин добавляет густоты тембра, значимости в конце фразы, кажется, он даже переусердствовал...

— Почему же? Чем оно провинилось?

— Причин здесь несколько: во-первых, организм, который обессмертили таким способом, теряет способность размножаться. Это значит, что мы уничтожаем все будущие поколения. Человечество потеряет источник развития и обновления.

— Но...

— Что лучше, по-вашему: спасти рожденных или убить не родившихся?

— Лучше придумать способ размножаться, будучи бессмертными.

— Думаете, лучше? Сомневаюсь: через сотню лет нам некуда будет ступить... Но дело, в конце концов, не в этом. Человек не приспособлен для бессмертия, просто не создан для этого.

— Интересно, почему?

Казин молчит: разве он может объяснить, почему? Разве можно объяснить чудовищный ужас случайной гибели и в то же время мучительную тяжесть огромной пустой бесконечности впереди, отчаяние, апатию, скуку... Казин молчит. Он не может объяснить. Более того: подсознательно он не хочет объяснять, боится отпугнуть, боится остаться один навсегда...

— Мне казалось, — в голосе Долгунова опять ирония, но она фальшивая, надувная: под ней жажда, надежда, страх... — что любая религия утверждает обратное. Обещание бессмертия...

— Понимаете, обновление и созидание в живой материи неотделимы от смерти и распада. Одно не существует без другого. Нельзя увековечивать брренное. Если мы бесконечно сохраняем тело, то начинает гнить душа... А это, может быть, и есть единственный грех. Религия ведь сулит вовсе не бессмертие. Она обещает освобождение и обновление. Может быть, вечное. Нельзя закреплять навеки рабское состояние человека в этом мире. Замысел творения иной...

— А как же тогда Адам и Ева? — ирония, опять ирония! Он не верит в искренность Казина, а значит, не верит и самим словам, не слышит их, да и как можно поверить этим расплывчатым душеспасительным тирадам?

— По замыслу, они были созданы бессмертными. И детей они, по-видимому, не могли иметь до изгнания из рая. Смертность возникла как результат грехопадения.

Долгунов молчит, затем пожимает плечами, подходит к микроскопу и снова заглядывает в него.

— Есть еще чисто практические причины, — продолжает Казин, — это средство наверняка достанется небольшой группе, которая будет всячески препятствовать его распространению. В итоге — новое масонство: кучка «бессмертных богов», управляющая миром смертных. Возможно, им придет в голову, чтобы держать смертных в узде, создать армию из бессмертных солдат. Или еще хуже...

— Ну, надо полагать, — перебивает Долгунов, — оторванную ногу ваши бактерии не восстановят.

— Не знаю. Возможно, нет.

Долгунов резко поворачивается и складывает руки на груди:

— Так что же вы все-таки намерены с этим делать? Пауза. Немного передержана.

— Наверное, уничтожу...

— Когда же?

— Не знаю... сейчас, завтра, скоро...

Разговор сам собой иссякает. За окнами ночь и тишина. Долгунов, как обычно, остается ночевать.

Дальнейшее ясно. Ловушка захлопнется, механизм сработает.

Но Казин еще не знает, Казин еще не ведает, что натворил. И только тяжелое, саднящее предчувствие мешает ему заснуть...

* * *

Долгунов жил неподалеку на Маросейке. Казин бывал у него всего однажды — по разным причинам тот приглашал к себе редко и неохотно. Смутно вспомнился трехэтажный доходный дом с грязными розовыми стенами, затхлая маленькая квартирка, хронически немытые окна, наваленные по углам книги, сохнувшее после стирки белье...

Дверь отворила незнакомая женщина с молодым, но как бы бесконечно усталым лицом. Что угодно? Нет, его нет. Нет, она ничего не знает. Нет, он перед ней отчета не делает. Да. Да, непременно передаст, если только сподобится увидеть. Да, она запомнила: Казин.

Он сделал было движение вперед — нельзя ли, дескать, прямо здесь подождать — но она как-то вся напряглась, загородила проход; вы так можете и неделю прождать... Она стала медленно закрывать дверь. Казин попятился, и ему показалось, что в последний момент он уловил странное, настороженное движение-дыхание в глубине квартирки... В этот момент дверь захлопнулась.

Уже пешком, он медленно поплелся обратно под тем же чахоточным октябрьским дождичком, мимо тех же лавок с грязными вывесками, мимо мутного, тусклого двухэтажного мира под осенним небом с яркими, словно осколки июльского солнца, вкраплениями церквей.

Зачем он ездил? Ведь было ясно: Долгунов ни за что не покажется ему после всего. И не только ему. Так зачем же? Для очистки совести? Чтобы приглушить заведомо бессмысленными действиями чувство вины, облегчить его тяжесть... А, впрочем, тяжесть ли это в сравнении с той, что заставила его, потянула словно в пропасть во вчерашний разговор, все дальше, глубже... Эта ноша слишком велика для одного. А для двоих? Пока Атлант ходил за яблоками, Геракл держал небо...

Но почему, почему нельзя было рассказать всю правду, почему нельзя было предложить, а не заманить? Почему все же нужен был обман? ... потому, что не осознавал?.. потому, что вся правда могла отпугнуть?.. потому, что требовалось, чтобы тот сам взял, сам выбрал, а значит, и винить смог бы после лишь себя... потому, что требовалось совершить преступление, не оставляя улик.

Аккуратный преступник в тысячу раз более виновен, чем тот, кто убивает в бешенстве, страсти, отчаянии...

Нельзя чистить совесть сапожными щетками...

Казин вернулся домой. Лампа в кабинете уже погасла, оставив в воздухе горьковатый вязкий запах. На пышном цветке, пульсируя желто-карими крыльями, сидела бабочка. Эту он не помнил.

Что ж, одной бабочкой стало больше.

Внезапно Казин почувствовал себя усталым, как-то внутренне обмякшим и... — да, да — постаревшим.

Возраст определяется продолжительностью жизни самообмана. В мозгу Казина самообман прожил всего несколько часов. Но этого оказалось достаточно.

* * *

Вечер следующего дня застал Казина сидящим в кабинете, привычно опустившим отяжелевшую каменную голову на постамент сомкнутых рук. За окном вялая сырая тьма, а на столе, в желтом круге света от лампы — чистый лист бумаги. На стальном пере высыхают чернила. День проведен в заранее обреченных попытках увидеться с Долгуновым. Конечно, он у себя, если еще не выехал. Остается единственный шанс — письмо. Письмо он прочтет, хотя бы из любопытства. Только вот что написать?

Ручка снова ныряет в чернильницу — и криво выведенное «Дорогой друг!» летит, скомканное, в корзину. Дружба между ними так и не состоялась, да и не могла, наверное, состояться — чем бы ни кончилась эта история. Это ведь была уже не первая попытка сближения, которая вместо прикосновения кончалась ударом.

Лист по-прежнему пуст, кончик пера подрагивает над ним. Ну не «милостивый» же «государь» его звать! «Коллега», — ухмыльнулся кто-то изнутри. — «Собрать по несчастью», — отозвался другой.

К черту! И так поймет:

«Я требую, — нет, уж теперь на колени, — я умоляю вас прочесть это письмо только в том случае, если вы не пользовались этим средством или только собираетесь его употребить. В противном же случае уничтожьте его, не читая...» — объяснять, почему? Иначе он, конечно, и не подумает... Впрочем, он все равно прочтет, только не поверит.

А так? Так он хотя бы бросит единственную имеющуюся у него соломинку.

«Как вы уже, несомненно, поняли, я солгал вам, сказав, что не принял препарат сам, — каяться, так уж до конца, — и сознаюсь, что сделал это умышленно, — хотя и неосознанно, какая, разница. — Таким образом, я поставил вас перед недолимым соблазном, и поэтому нисколько не виню вас за ваш поступок, а, наоборот, глубоко сожалею о содеянном мною. Мне остается лишь попытаться предупредить вас о неизбежных последствиях этого шага и умолять, просить, требовать поверить мне, — ах, если бы он мог поверить, — и удержаться, удержаться от прыжка в этот водоворот, в эту...»

Казин вдруг перестал писать и принялся густо, зло зачеркивать последние слова: так не пойдет, только логика, только здравый смысл — цепь доводов и рассуждений. Душу ему не убедить — только разум, механику здравого смысла. А дальше уж — кто кого...

«Сперва вы действительно обретете блаженное состояние бессмертия — ощущение легкости и всемогущества, избавление от старости и возможность добиться всего. Вы можете жить радостно и безоглядно — так кажется поначалу. Но постепенно на место этого состояния прокрадывается страх — страх случайной смерти, неимоверно возрастающий от того, что вам теперь есть, что терять, ведь вам кажется, что вы можете жить вечно, — да, тогда это только кажется. — И постепенно страх несчастного случая, разрастаясь до неимоверных размеров, изменит ваши привычки, заполнит сознание и будет способен довести его до исступления, до умопомешательства».

Казин откинулся на спинку и размял папиросу непослушными пальцами. Как можно убедительно описать патологию

ческую боязнь лифтов, поездов, пароходов, шараханье от экипажей и панический страх висящих на крыше сосуллек... Да и стоит ли? Ведь страх смерти — это только начало, его можно преодолеть теми же методами — и будут аэропланы, экспедиции, заплывы и, может быть, даже окопы. И однажды смерть подойдет совсем близко и задышит в затылок...

...жидкая тьма вокруг, дикая боль, камнем тянущая на дно, но страха уже нет, он наконец лопнул, исчез, осталось облегчение: сейчас он сделает последний, уже свободный глоток воздуха и... и тут рука натывается на что-то твердое, шершавое — лодка! — пустая лодка посреди моря — именно здесь, сейчас... И уже скорчившись на дне и растирая злополучную ногу, он медленно осознает весь смысл происшедшего...

Папироса погасла, но Казин продолжал покусывать мокрый уже окурок. Там, в лодке и возникла у него необъяснимая уверенность, что гибель от несчастного случая ему не грозит. Но все это нельзя, невозможно объяснить. Такое можно принять только на веру — а как раз ее-то он сейчас не заслуживает.

«Но даже не от страха случайной смерти я хочу предостеречь вас, ибо с ним-то как раз человек может справиться. Страшно другое — все то, ради чего вы теперь хотите жить — слава или деньги, любовь или власть, спасение или уничтожение человечества, — все это становится достижимым, если в запасе у вас вечность. Но ваши желания устанут и умрут довольно быстро, ведь рано или поздно вы сможете достигнуть всего, а достигнув, разочаруетесь в этом: вам доступно все, и именно поэтому вы ничего не хотите. Одно наскучит вам после пресыщения, другое — даже без обладания им, но, в конце концов, любое действие теряет смысл — и вы остаетесь один на один со своим бессмертием».

Казин подумал, что сам он так и не достиг ничего. Поймет ли Долгунов, что у такого человека не может быть друзей, близких, что он всегда будет в глиняном кувшине своего одиночества. Этого-то одиночества Казин вчера и не выдержал. И вдруг его словно прорвало. «Пойми же, это кошмар, все время вот так, одному, кругом только дети — маленькие, большие, и никому ни слова, словно чумной, отравленный вечностью... и ничего не поделаешь, даже если рисковать, смерть мимо, всегда мимо. И лишь я один знаю все, кругом счастливые люди, а я выпал из жизни, выпал в бесконечность, в один и тот же повторяющийся день... Я не должен был никому, но вот не смог, не выдержал, прости меня, прости...» — Казин очнулся, сжимая в руках сломанную ручку. Нет, так нельзя. Ненаписанный лист летит в корзину. Все равно этого не объяснить, не передать, и остается только предупредить его, честно предупредить и умыть руки. Все равно человека нельзя уберечь от опасности, которую он не может себе представить. В конце концов, его-то никто даже не предупреждал. Да и вправе ли он лишать Долгунова выбора? Впрочем, представлять его он тоже был не в праве.

Закурив и как-то внутренне обмякнув, Казин закончил письмо в связных логичных фразах, стараясь лишь, чтобы сквозь строчки не проглядывало отчаяние. Затем он даже нашел в себе силы переписать письмо набело, и лишь в конце большими буквами приписал: «P.S. Прости меня». Затем Казин запечатал конверт и, подойдя к окну, отдернул портюру. Вялый туман на пустой улице ждал дня, чтобы умереть, а на оконном переплете перед ним легко вздрагивала маленькая золотистая бабочка.

* * *

С тех пор ему так и не удалось увидеть Долгунова, хотя он не раз пытался это сделать. Оставалось питаться слухами: говорили, будто он переехал сперва в Петербург, а потом в Берлин, будто бы его с женой видели в Вене, и прочее, но потом и слухи заглохли. Первое время Казин с тревогой раскрывал вечернюю газету, опасаясь убийственной сенсации под пошловато-хлестким заголовком, но скоро он перестал этого бояться: сенсация была бы здесь ни к чему, это Долгунов должен понимать не хуже него, даже если он будет руководствоваться только здравым смыслом.

Оставался лишь самый мучительный вопрос: принял или нет? или еще нет? — и Казин часто перебирал бесчисленные «за» и «против», переставляя эти гири с одной стороны на другую, тасовал варианты. В глубине души он ощущал бессмысленность этого занятия, но все же эти непрерывные размышления позволяли отвлечься от собственной роли во всем этом, от собственной гири... Впрочем, с этим и так все было ясно.

Так или иначе, но постепенно мысли об этом случае стали реже, потеряли настойчивость и забредали уже лишь изредка — посидеть, помолчать и уйти. А вскоре даже такие мысли временно отступили, поддавшись натиску хлынувших извне событий. За всеми своими делами Казин совершенно выпустил из внимания страну, да и весь мир вокруг, и тот вдруг напомнил о себе самым резким и бесцеремонным образом. Первый раз с начала «бессрочного отпуска» он оказался втянутым в эти нелепые, дикие игры, в которых не было выигравших, только проигравшие. В захлестнувшем его водовороте он с изумлением и ужасом узнал, насколько безжалостны могут быть эти взрослые дети по отношению друг к другу. И хотя он уже слишком давно был оторван от этих проблем, бессмысленность и несправедливость происходящего были настолько

очевидны, что боль и жалость к тем, кто «не ведает, что творит», смогли надолго вытеснить его собственные переживания. Волна русской эмиграции забросила его в Европу, но даже там, в этом черном котле только оттенялись его чужеродность и одиночество. Впрочем, в Европе он тоже остался ненадолго, она продолжала бурлить, и Казин чуть ли не физически ощущал нарастание того же гнетущего напряжения, что и на его многострадальной родине. Поэтому вскоре он переехал еще дальше, в Америку, где его познания нашли хороший спрос и где, отделенный океаном, как бесконечной пропастью, от всех кровавых и бессмысленных распрей, он смог довольно легко войти в новую колею. Впервые за последние годы Казин вновь обрел спокойную и размеренную жизнь, и новые впечатления постепенно затушевывали предыдущие воспоминания. Время и расстояние делали свое дело, и даже разразившаяся вскоре еще одна мировая война воспринималась уже как-то сдержанно, со стороны и не внесла в его жизнь существенных изменений. Но по мере того, как пережитое уходило, оставляя лишь сегодняшний день, вновь появлялась прежняя опустошенность, и мысли возвращалась на тот же заклятый круг. Этому способствовало также и то, что он был вынужден регулярно менять работу, жилье, а порой и фамилию. Взяв себе за правило не оставаться на одном месте дольше восьми-десяти лет, он каждый раз начинал как бы с нуля, заново, и призрак одного и того же, бесконечно повторяющегося дня вновь замаячил на краю сознания. Словно он выстраивал карточный домик, аккуратно и неторопливо, чтобы потом разом смахнуть всю кропотливую конструкцию и начать новую. Все больше это напоминало Казину бег по кругу, точнее, по сужающейся спирали. И он старался, но не мог не думать о том, что находится в ее центре.

* * *

Филадельфия-Бостон, вечерний рейс. Тяжелый синевбрый боинг неожиданно легко отрывается от дорожки и начинает энергично пожирать высоту. Казин сидит у самого иллюминатора и озирает пухлые облачные постройки, обрызганные соком заходящего светила. Государство облаков: дома-облака, жители-облака, мысли... Не рождаются, не умирают. Только все время меняются... то есть все время рождаются, все время умирают... живут. Жизнь облаков — это ветер. И смерть облаков — ветер. То есть время. Они умеют чувствовать время, впускать его в себя. Люди, вероятно, тоже это умеют, хотя и не столь спокойно, плавно, безболезненно. Все вокруг умеют, кроме него. Выходит, он уже и не человек?

А кто же? Неужто бог?

Да нет, слабоват для бога, бренноват. Богом не стал, человеком стал не. Разучился меняться: не рождается, не умирает... не живет. Угадайте, — что это? Дети — хором: КАМЕНЬ! Правильно, молодцы.

Значит, камень. Тело — глина, голова — гранит. Почти. Кто знает, однажды память может заполниться до конца, и тогда он разучится запоминать. И сможет только вспоминать. Одно и то же, одно и то же, без конца...

«На сегодня достаточно», — как бы извне обратился Казин к самому себе. Его опять затянул водоворот который год бесконечно повторяющихся размышлений об одном и том же.

Подросток, оттолкнувшись от любого повода, ныряет в мысли о сексе, голодный — о пище, больной — о своей болезни. Его же болезнь — жизнь. И он непрерывно думает о жизни. Точнее, о смерти. А еще точнее... о том, что все эти тонны дум бесполезны, что мозг его давно превратился в за-

евшую пластинку. И никто не желает ее снять. Никому нет дела... Или напротив: желает не снять. Этот самый Никто.

Смотришь на пассажиров в салоне — говорят, смеются, пьют, — лысины, кудри, морщины, глаза, болезни, — жизнь, смерть. Гаснут облака в окне — смерть, жизнь. Небо вверху синее, темнеет, исчезает: его нет, — это только снизу оно есть, да и то лишь днем, а поднимешься повыше — оказывается, неба нет. Не существует, потому что... жизнь, смерть.

«Кнопка высвобождения спасательного пояса. Не трогать без необходимости» — смерть, жизнь...

И так без конца. На что бы ни упал взгляд. Пластинка заела, круг замкнулся.

А разомкнуть? Рвануться, дернуть стоп-кран — удар, выстрел, прыжок — и все: тихо, свободно... — в тысячный, миллионный раз эта мысль пронеслась, обожгла сознание и исчезла. Казни знал, что не сделает этого. Временами он тешил себя надеждой на обратное, но в глубине давно уже поселилась уверенность: он не сделает этого. Не сделает сам. Потому, что...

— Тоже мне судья!

Казин вздрогнул и повернул голову. Его сосед — плотный мужчина латиноамериканской наружности — держал на коленях портативный телевизор. Транслировался футбол: по зеленому фону рассыпаны красные и белые пятна, невидимые трибуны свистят и воют.

— Тебе бы грешников в аду судить, — снова не сдержался сосед, обращаясь в пространство за поддержкой.

— А что такое? — автоматически подставил реплику Казин.

— Вот, смотрите...

Казин глянул на экранчик: передавали повтор эпизода, из динамика стрекотал комментатор: «... непростительная

ошибка для судьбы столь высокого ранга... четкая игра защиты... симуляция падения...»

Казин увидел красно-белого игрока, влетевшего с мячом в штрафную сине-желтых, защитник попытался сделать подкат, но промахнулся, не задев ни мяча, ни ног соперника. Но почти в тот же момент, на счастье сине-желтых, нападающий споткнулся сам и эффектно распластался на траве. Однако счастье было недолгим: судьбе померещилось нарушение, и он назначил пенальти. Красно-белый разбежался и без видимых усилий забил аккуратный гол. Трибуны, раздираемые противоречивыми эмоциями, выли.

— Кретин...

— Человек может ошибаться, — возразил Казин.

— Человек может. Но не судья!

— Разве судья не человек? — проговорил Казин, но сосед уже нырнул в экран и не слышал его. — Разве человек не может быть судьей? Или, став судьей, он перестает быть человеком? — добавил Казин уже молча и отвернулся к окну. Снаружи было совсем темно и только на кончике крыла мигал красный огонек.

Казин летал самолетами часто. Не чаще, однако, чем требовалось, не чаще, чем возникал повод лететь. От неоправданного риска слишком сильно пахнет вскрытыми венами. А это он уже делал однажды. Точнее, пытался.

Под ложечкой засосало, желудок пополз в глотку: самолет падал. Но еще секунда, и сидение толкнуло тело вверх. Простейшая воздушная яма. А вот еще одна. Обычное дело. Но на дне каждой такой ямы — страх и надежда. Отказ двигателей, вой, удар, взрыв, а наутро — груда дымящегося лома на фоне неуместно-пасторального пейзажа... А в утренней сводке: «двести пятьдесят пассажиров... да, да, именно... пя-

теро в тяжелом состоянии были доставлены... четверо вскоре скончались». В живых — один.

Дети, угадайте — кто?.. Правильно, молодцы.

Казин сдвинул часы с запястья и провел ногтем по его внутренней стороне. В том месте, где однажды был надрез, затем полоска шрама, а теперь — гладкая, чистая кожа. Ничего не осталось. Ничего, кроме нескольких минут в памяти... Он ведь так и не потерял сознания: с открытыми глазами прошел сквозь огонь, сквозь агонию, но не получил награды. Его отшвырнуло к исходной точке.

Есть, конечно, и более эффективные способы... но вдруг — неудача, вдруг что-то помешает, — и тогда последняя, пусть призрачная надежда исчезнет. Ему не дадут разомкнуть круг. Девятый, десятый круг. Его будут обходить несчастные случаи, тем более, если он станет гоняться за ними. Известно: смерть не любит незваных...

Казин вдруг резко потряхнул головой, а затем провел ладонями по лицу: довольно! Хватит, хватит самоперебаривания. Кто бы мог подумать, что бессмертные, оказывается, все время думают о смерти. А смертные? Не знаю. Но, пожалуй, нет. А раз так, то все наоборот, — он, Казин, смертный, а они — бессмертные. Но тогда выходит, что он уже давно умер...

Способ избавиться от смерти — вовсе не бессмертие, а сама смерть. Сосед-болельщик вострепнулся в своем кресле и задел Казина мягким бескостным плечом. Казин обернулся: пассажиры беззаботно дремали, листали журналы, теребили заказами стюардесс. Они могли беспечно жить настоящим, и естественный порядок вещей позаботится о них. Счастье — это когда за тебя все решено, когда можно не терзаться выбором, а просто жить.

Однажды, — лет двадцать уже прошло, — Казин слышал, как кричал человек, сорвавшийся (или все-таки прыгнувший?) с балкона. Чудовищный, бесконечный крик. Крик нечеловека. Потом, когда Казин выскочил на улицу, он успел увидеть обмякшее тело, которое санитары перекладывали на носилки. Тело и лицо. Лицо, породившее этот крик, лицо, продолжавшее кричать, продолжавшее падать в черную пустоту.

Казин понял, что падение этого человека продолжается и после глухого удара о землю. И будет продолжаться всегда. Носилки запихнули в машину скорой помощи. Улица утихла и вернулась в свою ежедневную дрему. А крик все длился — только уже не здесь, где-то в иных измерениях, там, где продолжалось падение в пустоту. Круг не разорвался, он замкнулся. Мгновение, которое могло бы освободить, разрослось раковой опухолью и пожрало время.

Теория относительности (невероятно, но ее избрал смертный!) утверждает: время зависит от точки наблюдения. Падение тела в черную дыру, например, мгновенно для одного наблюдателя и бесконечно для другого. То, что кажется мгновенным освобождением с этой стороны, может обернуться бесконечным рабством с той.

Это смешные домыслы, Андрей!

Трава не растет без почвы.

Но кто тебе все это сказал? Эйнштейн?

Никто.

И ты ему поверил?

Не знаю.

Да ты просто боишься.

Боюсь.

Чего? Разве может стать еще хуже?

Не знаю.

А кто знает?

— Вот так судья! — снова прорвало любителя футбола в соседнем кресле, — ну хитрец, сукин сын, теперь ему точно вклеят...

Казин автоматически влился взглядом в экранчик. В замедленном повторе, споткнувшись о мяч, удивленно падал в штрафной сине-желтый игрок, а к нему со зверским выражением ног только еще приближался красно-белый защитник. И что бы вы думали? Вот именно: судья назначил пенальти.

— Совесть угрызла, — продолжал комментировать сосед, — тебе бы палачом работать...

Судья тщательно установил мяч, загнал вратаря на линию ворот и приготовился дать свисток. Трибуны оборвали возмущенно-восторженный рев и напряженно замолкли. Клин-клином: ошибочный пенальти в одни ворота судья остроумно компенсирует не менее ошибочным, но уже в другие. «Злую» ошибку исправляет «добрая». Смышленный парень этот судья...

Длинный, с запасом разбег, — и сине-желтый форвард наносит чудовишной мощи удар. Вратарь даже не шелохнулся, а мяч — мяч, отраженный перекладиной, летит на трибуны. Те, разумеется, воют.

— Ну, теперь точно дисквалифицируют, — выдохнул сосед.

— Результат, вероятно, аннулируют, — предположил Казин.

— Отчего же. Счет-то останется 1:0, а вот судью... — он выразительно провел ногтем большого пальца через свой кардык, — будет травку на поле подстригать.

Самолет шел на посадку: бесконечный ровный полет сквозь ночь прервался, и Боинг устремился к земле. Чтобы

вернуться на землю с холодных ночных высот, не обязательно падать — можно планировать. Существует компромисс.

Казин слотнул, омывая слюной легкую тошноту посадки. Припав горячим лицом к стеклу, глянул вниз: в густой одно-тонной темноте проклюнулись огоньки — видимо, самолет миновал уже облачный слой. Они медленно росли, разгорались и множились. Они облегчали посадку. Может быть, впервые за последние десять (сто? тысячу?) лет у Казина появилось странное терпкое чувство. Нельзя оборвать, нет сил продолжать... но затормозить...

Огни внизу уже совсем большие: они скользят навстречу, растут, дышат, уносятся под крыло... Посадка — это старость полета. Любое торможение — это старость. Но где добыть старость? звучит смешно... Обменять на вечную молодость... но кто же променяет НЕвечную старость на вечную молодость? ... может быть, вы? ... я дам в придачу два телевизора и три футбольных мяча...

Глухой удар, и боинг катится, замедляясь, по земле. Полет окончен.

* * *

На следующее утро Казин проснулся в номере отеля. Он собирался прожить здесь около недели, пока не завершится переоборудование его нового дома в одном из пригородов Бостона. За окном плыл сонный пасмурный ноябрь: низкое небо, тусклый воздух, нудный нескончаемый дождик. Совсем как в России. Как будто ничего не изменилось. В зеркале отражается все тот же гладкий лоб, свежая кожа, густые темные волосы. Фальшивую мыльную бороду постепенно соскабливает бритва.

Лицо, которое не меняется. Что это, дети?

Правильно — маска.

Казин приблизил лицо к зеркалу и с силой прочертил ногтем несколько горизонтальных борозд на лбу. Тормозить...

И вдруг он вспомнил: это было вчера в самолете, очень короткое, но новое состояние, изменение. Надежда, точнее, еще только призрак надежды; не выход еще, но некий смутный намек, указание области поиска. Словно в детской игре с поисками предмета ему после тысяч «холодно, холодно, холодно...» наконец-то сказали: «чуть теплее».

Но сейчас Казин не мог восстановить это состояние. Он не чувствовал ничего. Может быть, ничего и не было. Если слишком долго и напряженно вглядываться в темноту, то перед глазами иногда начинают вспыхивать разноцветные сполохи. Но на самом деле ничего не меняется. Это называется ложное зрение.

Казин снова глянул в зеркало: морщины, которые он начертил только что, уже исчезли — гладкая молодая кожа. Выхода по-прежнему не было. А давеча — ему померещилось. Бесплезная рекомендация «тормозить» не означала ничего.

Тело, которое равномерно движется в вакууме, не может тормозить, оно может только взорваться.

Но он знал, что не сделает этого. Потому, что это не есть выход. Потому, что одну ошибку нельзя исправить другой. Потому, что второй ошибочный пенальти не был забит и красно-белые проиграли. Потому, что кто же, кто примет у него этот второй грех, чтобы аннулировать первый? Потому, что он уже однажды лишил себя жизни, а разве может труп покончить с собой.

Потому, что человек, сорвавшийся с балкона, до сих пор продолжает кричать...

Потому, что страх...

Потому...

Казин снова взглянул в зеркало. На подбородке — результат небрежного бритья — висело несколько красных росинок. Он взял с подзеркальной полочки лосьон, смочил вату и стал стирать кровь. Лосьон назывался «Мэфисто». На глянцевой этикетке сухопарый брюнет в черной тройке и при галстукe с загадочным видом сбрасывал свою клиновидную бородку. Кто же бреется в парадном облачении? А, впрочем...

Казин набросил халат и, открыв балконную дверь, выглянул наружу. Дождь усилился: капли стали тяжелее и стремительнее, холодный ветер потек в комнату. Казин шагнул на балкон и, облокотившись на перила, глянул с двенадцатиэтажной высоты на гостиничный дворик. Некто в красном плаще невозмутимо стриг траву на крохотном газоне. Тяжелые капли стремительно летели мимо, уносились вниз, исчезали, вслед неслись новые...

Потому, что второй пенальти не был забит...

Потому, что страх...

В конце концов, потому, что вся предыстория, и «эликсир», и лодка, и... все это могло быть лишь ловушкой. Лишь способом заставить его сделать это.

Долго же его гнали в эту ловушку. А впрочем, чем больше усилий затрачено, тем ценнее результат.

Казин снова посмотрел вниз. В руках он по-прежнему держал пузырек с лосьоном. Казин несильным движением бросил его: блеснув этикеткой, бутылочка ринулась по параболе вниз, еще секунда, и короткий стеклянный всхлип оборвет ее падение, осколки брызнут в стороны, разлетятся по мокрому бетону.

Мягко и почти бесшумно пузырек упал на самый край газона и остался невредимо лежать, поблескивая из травы. Газонный парикмахер в красном плаще так ничего и не заметил.

Казин поежился и, затворив поплотнее балконную дверь, вернулся в комнату.

* * *

Это случилось во второй вечер в новом доме. Казин занимался тем, что клеил из разноцветной бумаги кольца Мебиуса и вешал их, словно серьги, на люстру в гостиной. Чирикнул звонок; незванный гость оказался рослым парнем с улыбкой «купите пасту «красный тигр»» и плоским чемоданчиком в руке.

— Сэмюэль Роуп, вероятно, вы? — осведомился парень.

— Как вам сказать, — начал Казин; фамилию, как и дом, он сменил совсем недавно и еще не в полной мере с нею сросся, — в известном смысле это я. А в чем, собственно... а?

Парень снова улыбнулся: пожалуй, у него все же неплохая улыбка — как у большого добродушного зверя. Хищника:

— У нас с Вами назначена встреча.

— Что-то не припоминаю.

— Вы позволите, — парень вошел, остановился у пластиковой перегородки, звонко по ней щелкнул, затем ласково провел ладонью по полированному дереву шкафа, — не боитесь? Окурок, замыкание и... — он выразительно дунул и начертил в воздухе спираль, уходящую ввысь, — заработок за несколько лет взвивается к небу.

— Боюсь, не боюсь — какая разница?

— Очевидная. Страх — очень вредная эмоция. Но у меня есть отличный способ избавить вас от нее. Все ваши страхи я могу взять на себя. Для этого только...

Казин ухмыльнулся — если б это было так, волчонок... то я бы просто отшлепал тебя и вытолкал за дверь.

— ...нужно внести весьма умеренную сумму и оформить...

Ах, вот оно что.

— Вы страховой агент, верно?

— Именно, — воскликнул парень, — так приступим? — он стал извлекать из чемоданчика свой бумажный инвентарь.

— Я не собираюсь страховать дом, — решил обрубить Казин эту бессмысленную процедуру.

— Может быть, автомобиль, яхту, произведения искусства...

— Ни в коем случае.

— А, понимаю: вы не желаете страховать неодушевленные предметы. Но ведь мы страхуем не только имущество. Мы с удовольствием застрахуем вашу жизнь...

Казин снова покачал головой:

— Вы правы, я не желаю страховать неодушевленные предметы, — он перехватил вопросительный взгляд парня и вдруг, неожиданно для себя, добавил, — но я, пожалуй, согласен. Свою жизнь я готов застраховать.

Уже очень давно Казин не удивлялся собственным поступкам. И вдруг эта нелепая шутка, открытая издевка над собой и скрытая — над страховым агентом. Что его толкнуло? Странное, какое-то младенческое недоумение, пробежавшее по лицу парня? Плюс желание надавить на больное место — не забывай, мол? Плюс воспоминание о том мгновении во время посадки? Неужели он хоть в чем-то еще ребенок? Или же снова ребенок? Но ведь ничего не изменилось...

Парень тем временем шустро разложил на столе бланки и карточки: распишитесь вот здесь, теперь здесь, отлично, и вот еще тут, на обороте, и последний раз вот в этом прямо-

угольнике. Казин вывел непривычное «Роуп» в последний раз и скользнул взглядом по фамилии агента, оттиснутой на бланке: «Долгунов». Долгунов?!..

Казин слотнул: — Ваши предки родом из России?

Парень уже начал упаковывать бумаги обратно. Предки? Да, из России. Да, отец жив, а что? Дед? — дед умер еще до его рождения. Был ли у них в роду Алексей Ильич Долгунов? Ну, как вам сказать, был, конечно, в каком-то смысле даже не был, а есть... да, да, жив в некотором роде...

Парень защелкнул чемоданчик: а теперь ему надо бежать дальше, а если мистера Роупа интересует родовое древо Долгуновых и растущие на нем семейные распри, то он может обратиться к отцу, а он (парень) в семье уже почти посторонний, и она его мало интересуется, особенно изнутри.

Дверь за страховым агентом захлопнулась, и Казин остался один. Или уже не один? Надо только прийти и протянуть руку. И... и встретить гору отчаяния и бездну ненависти?

Ненависть не живет долго. Ненависть — это детство, для нее нужно слишком много слепого задора, другое дело — отчаяние. Но теперь, наконец, есть шанс разделить это отчаяние на двоих, или, по крайней мере, передавать его иногда другу другу — один несет, другой отдыхает.

Казин исступленно шагал по комнате, тер виски влажными холодными ладонями, потом вдруг влез на стол и стал снимать с люстры свежесклеенные ленты Мебиуса.

Может быть, вдвоем у них появится шанс. Минус на минус дает плюс... В этот момент Казин увидел свое отражение в зеркальной дверце шкафа. То самое отражение. Мысль осеклась и загнулась. Почему он решил, что столкнется с точно таким же, что Долгунов будет точно в таком же состоянии?

Откуда эта аксиоматика «эволюции бессмертного человека»? Единичный случай — это еще не закон.

Но ведь, может быть, Долгунов уже нашел выход. Ведь у него почему-то есть дети, и есть семья. И он почему-то не считает нужным менять фамилию. И сколько еще таких «почему-то» могут вскрыться при встрече.

* * *

Казин остановил машину возле двухэтажного белолобого коттеджа в южном пригороде. Дом, как он выяснил, принадлежал Стивену Долгунову (внук? правнук?).

Сам Стивен оказался немолодым поджарым мужчиной, уже седеющим, но всеми своими уверенными движениями подчеркивающим безукоризненное здоровье и высокий телесный тонус. С эдакой «подчеркнутости» и начинается, как известно, старость у американца. После вопроса об Алексее Ильиче Долгунове на лице у Стивена отобразилась (весьма, впрочем, мимолетно) некая сложная эмоция, состоящая из недоумения, досады, удивления и еще чего-то, к словам несводимого. А откуда вы о нем знаете? Что значит, еще в России? А, ваш дед, понятно... Знакомство вряд ли доставит вам много удовольствия, и кроме того, ему, Стивену, отнюдь не хотелось бы... Да и Алексей Ильич вряд ли желает видеть посторонних, а впрочем, если вы так настаиваете, то почему бы и нет, ему, Стивену, в конце концов, все равно, его дело лишь предупредить, во избежание... так что идемте, я вас к нему провожу.

Они прошли в дом, Стивен провел Казина на второй этаж, отворил одну из дверей и пропустил, даже как бы подтолкнул его вперед. Казин оказался в небольшой комнате с пустыми белыми стенами и единственным окном.

Первым, что поразило Казина, был тяжелый мутный запах, вызвавший мысли о каких-то больничных коридорах, казармах, аптеках и еще почему-то российских поездах. А потом Казин увидел узкую кровать, стоявшую в углу, и лежавшего на ней человека, накрытого до пояса одеялом. Казин вопросительно обернулся к хозяину, и тот молча кивнул в сторону кровати: «Это он».

На кровати лежал старик с болезненной серо-лиловой кожей и чудовищно асимметричным лицом. Глаза его были закрыты, изо рта на рубашку стекала желтоватая слюна. Казин сделал шаг вперед; шрам над бровью, родинка на мочке правого уха, но дело не в этом, не в этом, Казин отыскивал знакомые штрихи, скорее чтобы уклониться от осознания, смягчить и растянуть шок, потому что с первого же мгновения сомнений быть не могло: это был он.

— Инсульт, — голос его спутника оборвал молчание, — никто не застрахован, сами понимаете.

— Давно? — мертвым, механическим голосом уронил Казин.

— Не знаю точно, но... да, давно. Очень давно.

Казин подошел почти вплотную к постели и наклонился.

— Он в сознании? Он нас слышит?

Ответа не было. Казин обернулся: хозяин исчез, дверь закрыта, — и тогда он снова склонился над кроватью.

Лицо Долгунова было не просто асимметричным. Правая его сторона была неживой — маска из дряблой, бессильной плоти с парализованными мышцами, а левая, наоборот, была сморщена, неестественно напряжена и почти непрерывно подрагивала. Инсульт, видимо, произошел в правом полушарии и паралич охватил правую половину лица и, соответственно, левую половину тела.

Неужели он в сознании?

Казин медленно протянул руку с дрожащими пальцами к этому лицу и коснулся левой, непарализованной щеки. Веки дрогнули, приоткрылись, снова слиплись и, наконец, открылись уже широко. Казин заглянул в мутноватые, с красными прожилками глаза, ожидая, словно укола, момента, когда Долгунов узнает его. Глазные яблоки дрогнули, а зрачки сузились, реагируя на свет, но все же было не ясно, могут ли эти глаза «узнавать». Ясно было другое: это были глаза существа, которое все время испытывает боль. Казин не знал, была ли это просто нестерпимая физическая боль вроде мигрени или судороги, или нечто другое, менее явное, и потому неустраняемое. По ту сторону мутноватой роговицы гудело огромное магмовое озеро боли. А раз была боль, то, значит, существовало и сознание, в котором она жила, существовала память, и значит, Долгунов все-таки узнал его...

И словно в подтверждение веки Долгунова смежились и снова разошлись, а угол рта странно искривился и из него на рубашку потекла слюна.

Казин опустил на стул возле кровати и, наклонив голову, уткнулся взглядом в носки своих ботинок. И в то же время он продолжал ощущать лежащее рядом парализованное тело и излучаемую им боль. И единственная мысль, которая непрестанно вспыхивала в сознании: «Этого не может быть. Этого не может быть. Не должно быть».

Казин не желал понимать этого, потому, что не желал принимать.

Потому, что за кражу не дают пожизненного заключения. Потому, что настоящий-то преступник он, Казин.

Потому, что такая боль бывает только у самого края, перед прыжком, перед освобождением. Она разрастается

до размеров вселенной, чтобы тут же исчезнуть в ослепительной вспышке свободы.

Но ей не дали исчезнуть. И она осталась. Осталась размером со вселенную. И вместо вселенной.

Казин оторвал взгляд от пятна на своем правом ботинке и поднял голову. Он встретил напряженный, почти обжигающий и безусловно осмысленный взгляд Долгунова. Сомнений быть уже не могло: Долгунов узнал его.

И это было страшно.

* * *

— Я все равно не понимаю, как это произошло. Что заставало тебя сделать это именно в такой момент, в таком состоянии? Почему? Ты мог хотя бы сделать это раньше...

Веки Долгунова сомкнулись и секунду оставалась сомкнутыми, затем он снова открыл глаза.

— Ты получил письмо?

— Да.

— Ты поверил?

— Да. Нет... не знаю... Да.

— Но тогда зачем? Зачем? Неужели, чтобы показать мне мою собственную ошибку, глупость, гордыню... вину... чтобы показать мне, что я сделал, и где я теперь?..

— Нет.

— Может быть, ты вообразил, что скопил за жизнь столько грехов, что должен теперь сам себя наказать? что это твое дело и твое право? Что...

— Нет. Нет. Нет.

— Тогда что? Случайность? Страх? Или просто однажды, когда смерть подходит вплотную, когда нутро переворачивается, когда уже холодеют пальцы и ужас заглядывает в глаза...

— Да. Да...

— ...тогда разум становится бесполезным и жалким, как котенок, брошенный в реку, и все прошлые мысли, решения, цели... вся эта солома с треском сторает...

— Да...

— ...и все оказывается иначе, иначе, чем ты думал, иначе, чем наивно распланировал, и сам-то ты, оказывается, другой, и хочешь и боишься другого, и нужно тебе всего лишь: схватиться за соломинку, повиснуть на паутине. Ты веришь, и одновременно не веришь, что это возможно... все рушится, тебя уже нет, есть только шторм, бушующее море ужаса... И этот ужас немеющими пальцами хватает шприц и вкалывает себе в вену спасительное средство. И через несколько часов это средство действует. Что-то спасено. Только вот что?

— Это было так? Так? Скажи...

Уже несколько секунд глаза Долгунова закрыты. Он больше не отвечает. Да он и не отвечал вообще. Смешно было считать ответами беспорядочное подрагивание век, а вопросами столь же беспорядочную чехарду собственных мыслей.

Он, впрочем, и не считал...

Казин снова взглянул на кровать: неподвижное тело, ассиметричное лицо, веки сомкнуты, а под ними... Но что он, Казин, здесь делает? Зачем?

Внезапно он поймал себя на неистовом желании бежать, выскочить из этой комнаты, этой ситуации, этой кожи... и, задыхаясь, бежать, бежать под бешеный стук собственного сердца...

Но вместо этого он только медленно подошел к окну и выглянул наружу. Уже начинались сумерки. Казин увидел собственную машину, оставленную по ту сторону невысокой ограды, и с болезненной отчетливостью вспомнил состояние, в котором он ехал сюда: растерянность, беспорядок в мыслях,

страх и в то же время тоненький стебелек надежды, призрачный шанс... и вопросы, тысячи вопросов...

Теперь вопросов не было. Встречи, впрочем, тоже не было. Они не встретились, они прошли друг мимо друга на чудовищном расстоянии: каждый на своей маленькой черной планете, точнее, внутри нее. Возможно, эта встреча и не могла произойти. Потому, что выход на свет не ищется вместе, потому, что у каждого своя нора и свой выход, а встретиться можно уже только там, наверху. И Казин понял, что знал это с самого начала, знал, когда искал адрес, знал, когда гнал сюда машину. Он знал, но ему не хотелось знать. Хотелось просто бежать, бежать без оглядки.

Так же, как и сейчас.

Но сейчас бежать нельзя. Он и так бежал слишком долго. Да и не в нем уже дело...

Казин подошел к кровати и с огромной высоты глянул вниз. Там, на бесконечном расстоянии, ревел и метался океан боли. Кто-то, захлебываясь, кричал там, внизу, не умея ни спастись, ни погибнуть.

И чтобы его спасти, нужно было погибнуть самому.

Казин поднял одну из подушек, наваленных у изголовья, осторожным, каким-то робким движением, словно боясь разбудить, положил ее на лицо Долгунова и потом придавил ее собственным телом...

Прошло несколько минут. Казин поднялся и сбросил подушку на пол. Тело лежало в той же позе, только глаза и рот были открыты. Но исчезла чудовищная асимметрия, расколовшая лицо на две независимые и как бы ненавидевшие друг друга части.

Довольно долго Казин стоял не шевелясь, словно пытаясь проследить стеклянный взгляд мертвых глаз Долгунова, по-

том негнушимися пальцами закрыл глаза и осторожно сложил вялые, сморщенные руки на груди.

Каждое движение стоило ему невероятных усилий, тело было тяжелым и чужим, оно еле сгибалось в отвердевших суставах. Как страшно, как бездонно он устал. Так, словно всю усталость, которая причиталась ему за эти десятки лет и накапливалась неизвестно где, на каком счету и на каком портрете, ему выдали разом, влили в него одной огромной одуряющей порцией. Казин снова взглянул на тело и дотронулся зачем-то до испещренного морщинами сухого старческого лба. Еще немного постояв, он сделал неуклюжее движение вперед, словно пытаясь опуститься на колени, но вместо этого как-то обессиленно съехал вниз и сел на пол. И так и остался сидеть.

* * *

Он сидел, обняв колени и уткнувшись в них головой, без мыслей, без движения, не чувствуя даже собственного тела. И мир вокруг тоже замер и оцепенел.

Это была зима, та тихая, безветренная зима, когда неслышно падает снег, когда забываешь даже осень и остаются лишь пушистые неторопливые хлопья, густая завеса, сквозь которую Казин едва различал смазанные движением тени, фигуры, глухие голоса. Кажется, его куда-то вели, о чем-то спрашивали, он отвечал, и никто даже не догадывался, что на самом деле он остался сидеть один там, на полу этой комнаты, у изголовья той кровати. А сверху, медленно покрывая и его, и дом, и весь мир, падал снег.

Казин с трудом разлепил глаза и медленно приподнял голову. Он действительно был один в пустой комнате, но сидел уже на стуле, а комната была совсем маленькой, с тяжелой железной дверью, в которую был вделан глазок. И кровать рядом с ним была пустой.

Немного помедлив, Казин лег на нее, вытянулся и уткнулся взглядом в низкий крашенный потолок. Снегопад прекратился, и теперь он сразу вспомнил все: завтра его ожидает суд. Суд над ним. Какие-то люди будут долго обсуждать, чего он более достоин: смерти или пожизненного заключения. Словно они хоть что-нибудь знают о том или о другом, словно они и впрямь могут что-то решать. И, однако же, приговор, который они вынесут, будет истинным, единственно верным. Вот уж действительно, устами младенца...

И он заранее готов принять этот приговор. Готов, потому что последний шаг он сделал с открытыми глазами. Потому, что это было единственное, что он еще мог сделать. Теперь остается просто лежать и ждать. Когда наступает зима, можно только ждать. Ждать и... нет, просто ждать. Ведь ничего другого он уже не умеет.

А сверху опять падает снег, он осторожно покрывает его тело, холодит веки, вкрадливо припорошивает волосы, и вот уже ничего не видно и не слышно, кроме белой пустоты...

* * *

Утром в камеру вошел охранник и Казин медленно поднялся ему навстречу: пора, суд ждет. Он спокойно застегнул ворот рубашки, надел пиджак, даже причесался, и когда уже убирал расческу в карман, то вдруг заметил на ней длинный, белый, — да, да, точно! — седой волос. Он выронил расческу, и пожилой охранник в испуге отшатнулся. Но странная гримаса, исказившая лицо Казина, была всего лишь улыбкой. Улыбкой человека, разучившегося улыбаться.

**Валентин Молодов
Герман Тодоров**

Накануне завтра.
Рассказы и повести

Редактор: Ю. Фомина
Дизайн и верстка: В. Молодов
Корректор: Е. Яковлева

Формат 70х100/16
Бумага офсетная. Гарнитура Lazurski
Печать офсетная. Усл. печ. л. 17

ООО «Издательство «Триллиум»